

ТЕОДОР

СТАРДЖОН

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

эксклюзивная классика

Больше чем люди

Эдвард Гамильтон Уолдо

Аннотация
Теодор Старджон. Больше чем люди
Часть первая. Фантастический идиот
Часть вторая. Малышу – три
Часть третья. Мораль

Аннотация

«Больше, чем люди» – один из самых знаменитых романов, определивших развитие фантастического жанра.

Homo Futurus, человек грядущего, обладающий сверхъестественными способностями, – кто он? Супермен? Человек-паук? Выращенный в пробирке секретной лаборатории гомункулус?

На этот вопрос Старджон дает совсем неожиданный ответ.

Итак: *Идиот жил в черно-сером мире, который пронзали белые молнии голода и мерцающие зарницы страха…*

Теодор Старджон
Больше чем люди

Theodor Sturgeon
MORE THAN HUMAN

© Theodor Sturgeon, 1953
© Перевод. Ю. Соколов, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

* * *

Его гештальт-величеству Николасу Сэмстагу

Часть первая. Фантастический идиот

Идиот жил в черно-сером мире, который пронзали белые молнии голода и мерцающие зарницы страха. В его ветхой одежде зияли окна прорех. В них выглядывало то колено, угловатое и острое, как зубило, то частокол ребер. Долговязый, плоский парень. И на мертвом лице — застывшие глаза.

Мужчины откровенно отворачивались от него, а женщины не решались поднять взгляд. Лишь дети подолгу разглядывали идиота. Но он не обращал на них внимания. Идиот ни от кого ничего не ждал. Когда ударяла белая молния, его кормили. Пропитание он добывал сам или вовсе обходился. А случалось, его кормил первый встречный. Идиот не знал, почему так происходит, и не задумывался об этом. Он не просил, он просто стоял и ждал. И стоило прохожему заглянуть в его глаза, как в руке идиота оказывалась монетка, кусок хлеба или какой-нибудь плод. Тогда он ел, а неожиданный благодетель торопился прочь, охваченный смутной тревогой и недоумением.

Изредка с ним пытались заговорить; иногда о нем говорили между собой. Он слышал звуки, но смысла для него они не имели. Он жил сам в себе, далеко-далеко, не ведая связи между словом и его значением. Видел он великолепно и мгновенно замечал разницу между улыбкой и гневным оскалом, но ни та ни другая гримасы ничего не значили для существа, лишенного сочувствия, никогда не смеявшегося и не скалившегося, а потому не понимавшего чувств своих веселых или гневных собратьев.

Страха в нем хватало ровно на то, чтобы сохранить целыми шкуру и кости. Он не умел предвидеть что-либо вообще. Так что всякая занесенная палка, любой брошенный камень заставали его врасплох. Правда, первое же прикосновение пробуждало его. Он спасался бегством. И не успокаивался, пока не стихала боль. Так он избегал бурь, камнепадов, мужчин, собак, автомобилей и голода.

Идиот ничего не желал. Вышло так, что жил он скорее в глуши, чем в городе; и поскольку жил там, где оказывался, получалось, что оказывался по большей части в лесу, а не где-то еще.

Четыре раза его запирали, и всякий раз это ничего не значило для него и ничего не меняло

в нем. Однажды его жестоко избил сокамерник, другой раз, еще сильнее, охранник. В двух других местах был голод. Когда у него была пища и его оставляли в покое, он оставался. Когда наступало время бежать, он бежал. Средства для спасения предоставляла внешняя оболочка его существа, сердцевина же его или вовсе не тревожилась, или никак не распоряжалась своей скорлупой. Но когда приходило время, тюремщик или охранник замирали перед лицом идиота, в глазах которого словно кружили колеса радужек. Тогда запоры и засовы сами собой открывались, идиот уходил, а благодетель, как всегда, торопился найти себе какое-нибудь занятие, чтобы скорее забыть то, что произошло.

Идиот был животным… тварью, слишком деградировавшей для того, чтобы жить среди людей. И большую часть своего времени он проводил животным вдали от других людей. И будучи животным, по лесу он передвигался с изяществом зверя. И убивал как животное: без радости и без ненависти. Как животное, ел все съедобное, что удавалось найти, и когда ел (если это случалось), ел досыта, но не более. И спал он, подобно животным, сном неглубоким и легким, противоположным человеческому сну, ибо че-

ловек спит, чтобы погрузиться в сон, а животное для того, чтобы проснуться от сна. Он был зрелым зверем: игры котят и щенят не занимали его. Не знал он шутки и радости. Настроение его менялось от ужаса к удовлетворению.

Было ему двадцать пять лет.

Но, как косточка в персике, как желток в яйце, пребывало в нем нечто другое… пассивное, восприимчивое, бодрствующее и живое. И если оно было чем-то связано с животной оболочкой, то игнорировало эти связи. Сущностью своей оно происходило от идиота, однако во всем прочем пренебрегало им. Он часто чувствовал голод, но по-настоящему голодал редко. И когда голодал, это внутреннее, быть может, немного съеживалось, однако не замечало собственного умаления. Оно должно было умереть вместе со смертью идиота, однако не испытывало желания отсрочить это событие хотя бы на секунду.

Это оно не обладало никакой функцией, присущей именно идиоту. Селезенка, почка, надпочечник — все эти органы имеют свои конкретные функции, исполняемые на оптимальном уровне. Однако существовавшая в идиоте штуковина только воспринимала и запоминала. Она делала это без слов, без какой-либо кодирующей

системы; без перевода, без искажения, без действующих выводов наружу. Она воспринимала то, что воспринимала, и ничего не выдавала вовне.

Своими особыми чувствами ощущала окружавшее ее тихое бормотанье, посылку. Она была пропитана этим бормотаньем, и когда оно приходило, поглощала его целиком и полностью. Быть может, она сопоставляла его и классифицировала, а возможно, просто питалась им, забирая необходимое и отбрасывая остальное каким-то непостижимым для нас образом. Идиот об этом не знал. Штуковина же…

Без слов: *тепло, когда ненадолго становится чуть сыровато, но ненадолго и недостаточно.* (Печально): *Больше не темно.* Ощущение удовольствия. Чувство давления, легкий треск и *уберите розовое и колючее. Подожди, подождика, ты еще можешь вернуться, да, ты можешь вернуться. Другим, но почти не хуже.* (Клонит в сон): *Это, оно вот! Это же — ох!* (Тревога): *Ты зашел слишком далеко, вернись назад, вернись назад, верн…* — (гнетущее внезапное прекращение; на один «голос» меньше.)… *Все несется вперед, быстрей и быстрее, уносит меня.* (Ответ): *Нет и нет. Ничто не несется. Все покоится; что-то*

пригнетает тебя к себе, вот и все. (Ярость): *Они не слышат нас, глупые, глупые… Они… Нет, не слышат, только плач, только ропот.*

И все это без слов. Впечатление, уныние, диалог. Излучения страха, напряженные поля сознания, недовольства. Бормотание, посылка, речь, общение с сотнями, с тысячами голосов, обращенных не к идиоту. Ничего имеющего к нему отношение; ничего такого, чем он мог бы воспользоваться. Он не подозревал о внутреннем слухе, потому что слух этот был бесполезен. Идиот был плохим образчиком человеческой природы, и при всем том являлся мужчиной; а голоса эти принадлежали детям. Очень маленьким детям, не научившимся еще не пытаться докричаться до ближних. *Только плач, только шум…*

Мистер Кью был отличным отцом, лучшим из всех отцов. Так он сам сказал своей дочери Алисии в ее девятнадцатый день рождения. Эти слова он повторял дочери с той поры, как ей исполнилось четыре года. Столько лет было Алисии, когда появилась на свет крошечная Эвелин, и мать обеих девочек умерла, проклиная мужа, ибо на сей раз пробудившееся в ее душе негодование пересилило ее муки и страх…

Только хороший отец, лучший из всех отцов,

мог сам принять роды. И только исключительный отец мог вынянчить и выпестовать обеих девиц с беспримерной заботой и нежностью. Ни один ребенок на свете не был огражден от зла столь надежно, сколь Алисия; а когда она подросла и соединила свои силы с отцом, для Эвелин был создан прочнейший покров чистоты.

— Чистоты тройной перегонки, — сказал Алисии мистер Кью в ее девятнадцатый день рождения. — Зло я знаю отменно — во всех его проявлениях, а потому учил тебя только добродетели, чтобы ты была примером, звездой для Эвелин. Я знаю все зло, каким оно есть, а тебе известно то зло, коего следует избегать девице, но Эвелин не знает зла.

В свои девятнадцать Алисия была достаточно зрелой, чтобы понимать такие абстракции, как «все его проявления» и «перегонка», а также такие общие понятия, как «добро» и «зло». В шестнадцать отец объяснил ей, как, оставшись наедине с женщиной, мужчина теряет рассудок и на теле его выступает ядовитый пот… Этот пот способен отравить женщину. В книгах отца были отвратительные картинки, подтверждавшие эти слова. В тринадцать у нее впервые случились некие неудобства, и она рассказала о них отцу.

Со слезами на глазах тот поведал ей, что это приключилось потому, что она слишком занята своим телом. Алисия призналась в этом, и отец наказал это тело так, что она пожалела, что оно у нее есть. Алисия со всем усердием старалась не думать о теле, но это не всегда ей удавалось, и отец регулярно, с полным прискорбием помогал ей смирить непокорную плоть. Еще в восемь он научил ее купаться в полной темноте, дабы не появились бельма на глазах, изображения которых также присутствовали в его библиотеке. А в шесть он повесил в ее спальне картину, изображавшую женщину по имени Ангел и мужчину по имени Дьявол. Женщина поднимала руки вверх и улыбалась, а мужчина тянул к ней крючковатые и когтистые руки, а наружу из груди его торчал кривой и влажный шип.

Жили они в тяжеловесном доме на челе заросшего лесом холма. К дому не вела ни одна дорога, лишь тропка петляла сквозь заросли, так чтобы не было такого окна, из которого предоставлялась бы возможность проследить весь ее извилистый путь. Тропа подходила к стене, к железным воротам, не открывавшимся целых восемнадцать лет; рядом с ними было стальное окошко. Раз в день отец Алисии отправлялся к стене и двумя

ключами открывал два замка в окошке. Потом поднимал металлическую панель, забирал продукты и письма, оставлял деньги и свою почту и вновь запирал окно.

Снаружи к стене подходила узкая дорога, которой Алисия и Эвелин никогда не видели. Лес скрывал стену, и стена скрывала дорогу. Стена тянулась вдоль дороги на двести ярдов в обе стороны, на восток и на запад, а потом взбегала на холм, пока целиком не охватывала дом. Здесь ее продолжал железный частокол высотой футов в пятнадцать, такой плотный, что между стальными штакетинами едва можно было просунуть кулак. Верхушки их были загнуты вниз и наружу, а понизу уходили в цемент, утыканный битым стеклом. Забор тянулся на запад и восток, соединяя дом со стеной, а там, где они смыкались, начинался новый забор, кружком охватывавший лес. Стена и дом образовывали прямоугольник, являвшийся запретной для посторонних территорией. Позади дома находились две огороженных квадратных мили леса, принадлежавшие Эвелин под присмотром Алисии. Там был ручеек, дикие цветы и маленький пруд, друзья-дубы и укромные лужайки. Небо над лесом оставалось чистым и близким, а забор нельзя было заметить

за плотными зарослями падуба, закрывающими перспективу, преграждающими путь ветерку. Этот крошечный пятачок был для Эвелин целым миром, больше она ничего и не знала — все, что она любила, заключалось внутри ограды.

В девятнадцатый день рождения Алисии Эвелин сидела одна у своего пруда. Она не видела дом, не видела заросли падубов и заборы, однако над нею высилось небо, а рядом журчала вода. Алисия ушла в библиотеку вместе с отцом, по случаю дней рождения он всегда находил для нее в библиотеке что-то особенное. Эвелин в эту комнату никогда не допускали. В библиотеке жил сам отец. И в нее разрешалось заходить только Алисии, и то по особым случаям. Эвелин и в мыслях не имела войти туда, — не более чем научиться дышать под водой подобно пятнистой форели. Младшую сестру даже не учили читать — только слушать и повиноваться. Ей не суждено было искать — лишь принимать. Знание было даровано ей только тогда, когда она оказывалась готовой принять его, и только отец и старшая сестра знали, когда настанет этот момент.

Эвелин сидела на берегу, расправив длинные юбки. Заметив, что оголилась лодыжка, она охнула и поспешно прикрыла ее, как сделала бы

Алисия, окажись она рядом. Прислонившись спиной к ивовому стволу, она глядела на воду.

Была весна, та самая пора, когда уже лопнули все оболочки, когда по иссохшим сосудам хлынули соки, когда раскрылись склеенные смолой почки, когда в стремительном порыве весь мир разом обрел красу. Воздух стал сладким и густым, он щекотал губы, и они раздвигались — он настаивал на своем, — и они отвечали улыбкой… и тогда он рвался в легкие, чтобы вторым сердцем забиться у горла. В воздухе этом была загадка, тишину и покой его наполняли недвижные краски снов, и все же он куда-то спешил. Этот покой, это стремление наполняла собственная жизнь, но как могли так тесно сплестись друг с другом стремление и покой… в этом крылась загадка.

Пересвист птиц мелким стежком прошивал зелень. Глаза Эвелин пощипывало, и лес расплывался за туманной пеленой изумления. Что-то напряглось у нее на коленях, она посмотрела вниз и увидела, как руки ее набросились друг на друга, и полетели в траву длинные перчатки. Нагие ладони взметнулись к вискам — не для того, чтобы спрятаться, но чтобы разделить нечто. Она наклонила голову, и ладони улыбнулись друг другу под железным пологом расчесанных волос.

Обнаружив четыре крючка, пальцы ее расстегнули их. Руки сами собой потянулись к крючкам. Высокий воротник распахнулся, и зачарованный воздух с безмолвным криком припал к ее телу. Эвелин задыхалась, словно от бега. Нерешительно, робко она протянула руку, погладила траву, словно пытаясь поделиться невыразимым восторгом, переполнявшим ее. Но трава не отвечала, и Эвелин упала на землю, зарывшись лицом в юную мяту, и зарыдала: столь невыносимо прекрасной была эта весна.

Идиот тем временем бродил по лесу. Он отдирал кору с мертвого дуба, когда подобное произошло и с ним. Руки замерли, голова повернулась на зов. Власти весны он подчинялся как всякий зверь, может, чуть острее. И вдруг она разом сделалась чем-то большим, чем просто густой, исполненный надежд воздух, чем истекающая жизнью земля. Жесткая рука на его плече не могла быть более властной, чем этот зов.

Идиот поднялся — осторожно, словно бы мог неосторожным движением сломать что-то рядом с собой. Странные глаза загорелись. Он шел… он, которого до сих пор никто еще не звал, он, который не звал никого и никогда. Он шел к тому, что ощущал, подчиняясь не внешнему зову, но

собственной воле. Идиот начинал думать… Он ощущал, как рвется внутри оболочка, прежде сдерживавшая потребность в мысли. Всю его жизнь она, должно быть, таилась внутри его существа. Сейчас этот властный зов был обращен ко всему человеческому в нем, к той части его, что до этого дня слышала лишь младенческий лепет и дремала, забытая и ненужная. Но теперь она говорила. И получалось, что говорила на собственном языке.

Он был осторожен и быстр, быстр и осторожен. То туда, то сюда разворачивая широкие плечи, скользил сквозь заросли. Шел бесшумно и легко, пробираясь меж стволами ольхи и березы, задевая стройные колонны сосен, как если бы не имел права оставить прямую линию, соединявшую его с этим зовом. Солнце стояло высоко; лес вокруг был тем же самым лесом впереди, справа и слева, но он шел, не сворачивая, в одном только ему ведомом направлении, следуя не знанию, не компасу, но осознанному внутреннему зову.

Он добрался до места внезапно. Ведь когда идешь по лесу, поляна — всегда неожиданность. Вдоль частокола все деревья были тщательно вырублены футов на пятьдесят, чтобы ни одна ветвь не могла перевеситься через забор. Идиот

выскользнул из леса и затрусил по нагой земле к тесному ряду железных прутьев. На бегу он вытянул вперед руки, и когда они уперлись в равнодушный металл, ноги его все еще двигались, ступни толкались, как если бы нужда давала ему силу, чтобы пройти сквозь забор и густую заросль падуба за ним.

Преграда не поддавалась, и этот факт постепенно доходил до него. Получилось так, что первыми осознали это его ноги, осознали и перестали пытаться. А потом поняли это и руки. Поняли и отодвинулись от забора. Только глаза не сдавались. Взирая с мертвого лица, взглядом своим они пронзали забор, пронзали стену падуба, готовые взорваться ответом. Рот его открылся, извергая какой-то скрежет. Он никогда еще не пытался заговорить и не мог этого сделать сейчас, жест был итогом, но не средством, подобием слез, выступивших на реснице при музыкальном крещендо.

И он пошел вдоль забора боком, не имея сил отвернуть свое лицо от преграды.

Весь день лил дождь, лил он и ночью, только к полудню следующего дня прекратился, но едва выглянуло солнце, дождь снова хлынул, но уже вверх. Струи света били в зенит от тяже-

лых алмазов, усыпавших богатую новую зелень. Некоторые из алмазов съеживались, другие падали, и тогда земля благодарила голосом мягким, листья голосом своей кожицы, и цветы своими красками.

Эвелин припала к окну, положив локти на подоконник и обхватив щеки руками, губы от этого сами собой растягивались в улыбку. Она тихо пела. Странной была песня для слуха, ведь девушка не ведала музыки и даже не знала, что таковая существует на свете. Но вокруг щебетали птицы, а в печных трубах стонал ветер, перекликалась и пересвистывалась мелкая живность в принадлежащей ей части леса — и в той части, что была запретна для нее, и перешептывались в вышине кроны дубов. Из этих голосов и сложилась песнь Эвелин, странная и безыскусная, не знающая ни диатонической гаммы, ни размера:

Но я не трогаю счастье
И не смею я тронуть счастье.
Прелесть, о прелесть касанья,
Листья света между мною и небом.
Дождь коснулся меня,
Ветер тронул меня,

Листья кружат

И несут прикосновенье…

Потом она пела без слов, а еще позже пела без звука, провожая глазами капли, алмазами осыпающиеся с ветвей.

— Что это… что ты делаешь? — прозвучало вдруг резко и грубо.

Эвелин вздрогнула и обернулась. Позади нее стояла Алисия, лицо ее окаменело.

Махнув рукой в сторону окна, Эвелин попыталась заговорить…

— Ну же?

Эвелин снова махнула в сторону окна.

— Там, — сказала она, — я… я, — и, соскользнув со стула, встала. Встала, выпрямившись во весь рост. Лицо ее горело.

— Застегни воротник, — проговорила Алисия. — Что это случилось с тобой?

— Я стараюсь, — проговорила Эвелин голосом тихим и напряженным. Она поспешно застегнула воротник, но тут ладони ее легли на грудь. Эвелин стиснула свое тело. Шагнув вперед, Алисия сбросила ее руки.

— Нельзя. Что это… что ты делаешь? Ты говорила? С кем?

— Да, говорила! Но не с тобой и не с отцом.

— Но здесь никого нет.

— Есть, — промолвила Эвелин. И вдруг, задохнувшись, попросила: — Прикоснись ко мне, Алисия.

– *Прикоснуться?* К тебе?

— Да. Я… хочу, чтобы ты… просто… — Она протянула руки к сестре. Алисия попятилась.

— Мы не прикасаемся друг к другу, — проговорила она по возможности мягким тоном, стараясь преодолеть потрясение. — Что с тобой, Эвелин? Тебе плохо?

— Да, — ответила Эвелин. — Нет. Не знаю. — Она отвернулась к окну. — Дождь кончился. Здесь темно. А там столько света, столько… я хочу, чтобы солнечные лучи охватили меня, я хочу погрузиться в них, как в ванну.

— Глупая. Ведь тогда твое купание будет при свете!.. А мы ведь даже не говорим о купании, дорогая.

Эвелин подхватила подушку со стула, на котором сидела, обняла ее и со всей силой прижала к своей груди.

— Эвелин! Прекрати!

Эвелин вихрем обернулась к сестре и посмотрела на нее так, как никогда прежде. Губы ее

дрогнули. Она плотно сомкнула веки, а когда вновь открыла глаза, на ресницах блестели слезы.

— Не могу, — выкрикнула она. — Не могу!

— Эвелин! — шептала Алисия, пятясь к двери и не отводя от сестры потрясенного взгляда. — Мне придется рассказать отцу.

Эвелин согласно кивнула.

Добравшись до ручья, идиот уселся на корточки и уставился на воду. В танце пронесся листок, на мгновение замер в воздухе, поклонился ему и отправился дальше между прутьями ограды прямо в уготованную ему падубом глубокую тень.

Он никогда еще не мыслил логически, и, быть может, попытка проследить взглядом путь листка была рождена не мыслью. Тем не менее, сделав это, он обнаружил, что ручей уходил здесь в канал с бетонными стенками, перегороженный теми же прутьями. От стенки до стенки они перекрывали здесь путь воде так плотно, что проскользнуть сквозь эту гребенку мог разве что лист или сучок. Он затрепыхался в воде, толкаясь в железо, ударяясь в подводный бетон. Задохнулся, наглотался воды, но в слепой настойчивости не оставлял напрасных попыток. Схватив обеими руками один из прутьев, идиот потряс его, но только поранил

ладонь. Он попробовал второй, третий… и вдруг железо стукнуло о нижнюю поперечину.

Результат в корне отличался от прежних попыток. Едва ли он мог осознать, что железо здесь проржавело и ослабло. Он ощутил надежду, потому что ситуация изменилась. Погрузившись в воду ручья до подмышек, он сел на дно и уперся ногами по обе стороны поддавшегося звена. Вновь ухватил его руками, набрал воздуха в грудь и потянул изо всей силы. Розовое пятнышко поднялось от его рук и бледной струйкой скользнуло вниз по течению, он наклонился вперед и дернул, откидываясь назад. Проржавевшая под водой штакетина хрустнула. Идиот повалился назад, больно ударившись затылком о край желоба. На какое-то мгновение он обмяк, и тело его не то подкатилось, не то подплыло к ограде. Он глотнул воды, закашлялся и поднял голову. И когда закружившийся мир остановил свое вращение, идиот принялся шарить под водой. Там оказалось отверстие — высотой не менее фута, но всего в семь дюймов шириной. Он запустил в него руку до плеча, опустил под воду голову. Потом снова сел и попытался просунуть ногу.

И снова ощутил как непреложный факт, что одной воли недостаточно; одного давления на

преграду было мало, чтобы заставить ее покориться. Он взялся за соседнюю штакетину и попытался ее сломать, но она не шевельнулась, как не пошевелилась и штакетина по другую сторону пролома.

Наконец он оставил попытки, безнадежно посмотрел вверх на пятнадцатифутовую вершину забора с его кривыми, голодными, грозящими ему клыками, а потом на ряды битого стекла. Что-то мешало ему: пошарив в воде, он извлек из-под себя отломанную одиннадцатидюймовую железяку.

Коснись, коснись меня. Эта мысль призывала его, подкрепленная бурей эмоций; в ней угадывался голод, зов, поток ласки и нужды. Зов так и не прекратился, но сделался теперь иным. Как будто призыв превратился в волну, а зов стал оттиснутым на ней знаком.

Когда это случилось, нить, соединяющая обе его личности, дрогнула и расширилась. Пусть неуверенно, она начала проводить. Частички и мерцания внутренней силы скользнули по ней, впитали внимание и информацию и вернулись назад. Взгляд странных глаз обратился к куску железа, руки начали крутить его. Разум идиота пробудился, стеная от долгого бездействия,

а потом впервые занялся решением подобной проблемы.

Сев в воде у забора, он принялся перетирать своей железякой штакетины — под самой поперечиной.

Пошел дождь. Он не прекращался весь день, всю ночь и половину следующего дня.

— Она была здесь, — сказала Алисия. Лицо ее покраснело.

Мистер Кью обошел комнату, сделав круг, его глубоко посаженные глаза горели. Пальцами левой руки огладил кнут о четырех хлыстах. Алисия сказала, припоминая:

— Она хотела, чтобы я прикоснулась к ней. Она просила меня об этом.

— Я сам прикоснусь к ней, — пробормотал он. — Зло, зло, — начал он нараспев, — зло нельзя вывести из человека. А я-то думал, что справлюсь, я думал, что справлюсь. Ты, Алисия, наполнена злом, и знаешь это, потому что женщина нянчила тебя, она не один год прикасалась к тебе. Но к Эвелин она не… Это зло растворено в ее крови, и его надо выпустить на свободу. Где она, как думаешь?

— Наверно, снаружи возле пруда. Эвелин любит это место. Я пойду с тобой.

Отец поглядел на Алисию, на разгоревшееся лицо, на пылающие глаза.

— Это моя забота. Оставайся здесь.

— Ну пожалуйста!

Он шевельнул тяжелой рукояткой кнута.

— Тебе тоже захотелось, Алисия?

Она отвернулась от него, испытывая непонятное волнение.

— Потом, — прорычал отец, выбегая из комнаты.

Алисия, дрожа, ненадолго застыла на месте, а потом метнулась к окну. Отец уже был снаружи, он шагал широко и целеустремленно. Руки ее легли на оконный переплет, губы раздвинулись, и с них сорвалось странное бессловесное блеяние.

Эвелин добежала до пруда, задыхаясь. Невидимой дымкой, колдовским маревом нечто висело над самой водою. Она жадно впитывала это чувство — и вдруг ощутила близость. Она не знала, что ждет ее — существо или событие, — но оно было неподалеку, и Эвелин предвкушала встречу. Ноздри ее трепетали и раздувались. Добежав до края воды, она опустила ладонь.

И сразу вскипела вода в ручье; это идиот вынырнул из-под ветвей остролиста. Он повалился грудью на берег и, задыхаясь, снизу вверх гля-

дел на нее. Широкий, плоский, исцарапанный, костлявый и утомленный. Ладони его опухли и покрылись морщинками от воды. Лохмотья липли к его телу, ничего не скрывая.

Завороженная девушка склонилась над ним, и зов послышался от нее — нет, хлынули потоки одиночества, ожидания, жажды, радости и сочувствия. Восхищение звучало в ее зове, и не было в нем ни потрясения, ни испуга. Не первый день она знала о нем, как и он о ней, и теперь оба безмолвно тянулись друг к другу, смешивая, сплетая, сливая чувства. Каждый уже обретал жизнь в другом, и теперь она, нагнувшись, коснулась его и провела ладонью по лицу и взъерошенным волосам.

Задрожав, он выбрался из воды. И она опустилась возле него. Так сидели они рядом, и наконец Эвелин увидела глаза идиота: они словно расширялись, заполняя все небо. Со слезами радости она словно упала в них, готовая жить в них, а может, и умереть, но уж точно сделаться их частью.

Эвелин никогда не говорила с мужчиной, а идиот ни разу в жизни не произнес ни слова. Она не знала о поцелуях, а он если и видел их, то не знал, что это такое. Но им было даровано нечто большее, чем поцелуй. Они сидели рядом,

ладонь ее лежала на его обнаженном плече, и токи внутренней сущности перетекали из одного тела в другое и возвращались обратно. Поэтому они не услышали ни решительной поступи отца, ни его изумленного вскрика, ни яростных воплей. Ничего, кроме друг друга, не видели они, пока не обрушился первый удар; схватив Эвелин, отец отбросил ее в сторону, не посмотрев, как и куда она упала. Он замер над идиотом, губы его побледнели, глаза разили… рот его шевельнулся и исторг ужасающий вопль.

И обрушился кнут.

Идиот был настолько поглощен тем, что происходило внутри него, что ни первый сокрушительный удар, ни второй его распухшая плоть даже и не заметила. Он лежал, уставившись куда-то в воздух, — туда, где только что были глаза Эвелин, — и не двигался.

Но вновь засвистели хлысты, терзая плетеными концами его тело. Тогда проснулся прежний рефлекс — спасаться, — и он отодвинулся, пытаясь соскользнуть ногами вниз в воду. Мужчина отбросил кнут, схватил обеими руками костлявое запястье идиота и сделал с дюжину шагов по берегу, волоча за собой длинное покрытое лохмотьями тело. Пнув свою жертву в голову,

он бросился назад, к кнуту. А когда возвратился, оказалось, что идиот уже успел приподняться на локтях. Новым пинком мужчина повалил его на спину. Поставил ногу на плечо идиота, пригвоздил его к земле и ударил по нагому животу кнутом.

Тут за его спиной раздался кошмарный вопль — и было как если бы на него напал буйвол с когтями тигра. Тяжко рухнув на землю, он повернулся и увидел над собой обезумевшее лицо собственной дочери. Она прокусила собственную губу, с нее капала слюна и кровь. Эвелин вцепилась в лицо отца, один из ее пальцев впился в его левый глаз. Взвыв от боли, он сел, рванул пальцами сложное переплетение кружев на ее горле и дважды ударил по голове тяжелой рукоятью кнута.

А потом, что-то бормоча и скуля, снова обратился к идиоту. Однако тем теперь владела неотложная необходимость, она звала его бежать, смыв собой все прочее. И когда рукоятка кнута выбила сознание из девушки, разрушилось и кое-что еще. Так что теперь он мог только бежать, и ничто другое не было теперь возможно до тех пор, пока не будет достигнуто спасение. Длинное тело изогнулось, как у жука-щелкуна, подбросив его в воздух и перевернув в полусальто. Идиот

приземлился на четвереньки и бросился наутек в то же самое мгновение. Кнут застиг его еще в полете, тело его в движении охватило плети, на короткий миг зажав их между краем ребер и костями ног. Рукоятка кнута выскользнула из рук мужчины. Завопив, он рванулся за идиотом, нырнувшим в арку между стволов падуба. Мужчина повалился лицом в листву и рванулся, рухнул в воду и бросился вперед уже в воде. Одна рука его вцепилась в голую лодыжку, потянула к себе, и та ударила его в ухо. И тут голова его уткнулась в железные штакетины. Идиот уже был под забором и за ним, он уже наполовину высунулся из ручья, из последних сил стремясь поставить свое изможденное тело на ноги. Обернувшись, он увидел, как беснуется, припав к железкам, его противник, не подозревающий о подводном проломе.

Идиот припал к земле, розовую от крови воду смывало с его тела и несло к преследователю. Рефлекс постепенно покидал его. Настало мгновение пустоты, а потом явилось незнакомое новое чувство. Столь же внезапное, как приведший его сюда зов, и почти столь же сильное. Чувство это было похоже на страх, но если страх казался ему туманом, липким и ослепляющим, то в этом

чувстве было что-то от жажды, нечто жесткое и целеустремленное.

Выпустив из рук отравленные стебли, чахшие на обработанной химикатами полосе вдоль забора, он позволил течению снова отнести себя к забору, за которым корчилась физиономия обезумевшего отца. Обратившись мертвым лицом к забору, он раскрыл глаза пошире. Вопли смолкли.

Идиот впервые осознанно воспользовался собственными глазами не ради того, чтобы получить кусок хлеба.

Когда мужчина ушел, идиот выбрался из ручья. И, оступаясь, побрел к лесу.

Когда Алисия увидела возвращающегося отца, она прикрыла рот тыльной стороной ладони и впилась в нее зубами. Дело было не в одежде, мокрой и порванной, даже не в раненом глазе. Дело было в чем-то еще, так что…

– *Отец*!

Он не ответил, но направился прямо к ней. В самый последний миг, чтобы не переломиться случайной соломинкой под его ногой, она безмолвно отшатнулась в сторону. Он протопал мимо нее прямо в библиотеку, оставив открытыми двери.

— Отец!

Не получив ответа, она вбежала следом. Он находился в дальней стороне комнаты, возле шкафов, которые никогда не открывал при ней. Теперь один из шкафов был открыт, и отец доставал из него длинноствольный револьвер и коробочку патронов. Открыв ее, он рассыпал патроны по столу и начал методично заряжать револьвер.

Алисия подбежала к нему.

— Что с тобой? Что случилось? Ты ранен, дай я тебе помогу, что ты де…

Остекленелый взгляд единственного теперь глаза его был прикован к оружию. Отец дышал медленно и чересчур глубоко, слишком длинно вдыхал, чересчур долго задерживал выдох и с присвистом выталкивал его наружу. Он звякнул барабаном, щелкнул предохранителем, посмотрел на дочь и поднял оружие.

Взгляд этот ей никогда не суждено было забыть. Жуткие события случались с ней и тогда, и потом, однако время сгладило фокус, скрыло подробности. Но взгляд этот остался с ней навсегда.

Отец посмотрел на нее единственным глазом, поймал и пригвоздил, так что она задергалась, как насекомое на булавке. С ужасающей ясностью

она поняла: отец не видит ее, не может отвести глаз от невидимого ей кошмара. Продолжая глядеть сквозь нее, он поднял пистолет, вложил ствол в рот и нажал на спусковой крючок.

Шума было немного. Только волосы на его макушке взметнулись. Глаз все смотрел вперед, смотрел, пронзая ее. Задыхаясь, Алисия выкрикнула имя отца. Но докричаться до него, мертвого, было невозможно, как и до живого, за несколько мгновений до выстрела. Он качнулся вперед, словно бы для того, чтобы показать ей ту кашу, в которую превратился его затылок, удерживавшая ее связь лопнула, и Алисия бежала из библиотеки.

Два часа, два полных часа прошло прежде, чем она сумела найти Эвелин. Одна из сестер была просто потеряна, превратившись в тьму и боль. Другая, напротив, стала слишком спокойной, она бродила по дому под аккомпанемент собственных стонов и хныканья.

— Что, — скулила она, — что ты сказал? — весь этот час пытаясь что-то понять, допытаться, добиться ответа у тихого дома.

Эвелин она нашла у пруда, сестра лежала навзничь, с широко распахнутыми глазами. Голова девушки сбоку распухла, посреди опухоли зияла

вмятина, в которую можно было просунуть три пальца.

— Не надо, — тихо шепнула Эвелин, когда Алисия попыталась приподнять ее голову. Мягко опустив ее, Алисия встала на колени, взяла сестру за руки и стиснула их.

— Эвелин, что случилось?

— Отец ударил меня, — спокойно проговорила Эвелин. — И теперь я собираюсь уснуть.

Алисия заскулила. Эвелин проговорила:

— Как называется, когда человек нуждается… в человеке… Когда хочешь, чтобы тебя касались… когда двое едины… и ничего другого вокруг не существует?

Читавшая книги Алисия задумалась.

— Любовь, — проговорила она наконец и, судорожно сглотнув, добавила: — Но это же — безумие! Скверное безумие.

На спокойном лице Эвелин почил отголосок неведомой Алисии премудрости.

— Это не так, — сказала она. — Любовь не так плоха. Я испытала ее.

— Тебе надо вернуться в дом.

— Я усну здесь. — Посмотрев на сестру, Эвелин улыбнулась. — Все в порядке… Алисия?

— Да.

— Я больше не проснусь, — проговорила она с той же странной мудростью. — Я хотела кое-что сделать, но уже не смогу. Сделаешь ли ты это для меня?

— Сделаю, — прошептала Алисия.

— Днем, когда лучи солнца будут прозрачны, искупайся в них… Но это не все. — Эвелин прикрыла глаза, легкая тучка набежала на ее безмятежное лицо. — Будь на солнце такой… Двигайся, бегай… Бегай и высоко прыгай. И пусть будет ветер, когда ты прыгаешь и бежишь. Я так хотела испытать это. Прежде я и не знала, что так хочу этого, а теперь я… ох, Алисия!

— Что, что с тобой?

— Вот там, смотри, неужели же ты не видишь? Там же стоит Любовь, и стан ее соткан из света!

Мудрые глаза ее спокойно глядели в темнеющее небо. Глянув вверх, Алисия ничего не увидела. А опустив взгляд вниз, поняла, что Эвелин тоже ничего больше не видит. Совсем ничего.

Далеко в лесу за забором звучали рыдания.

Алисия внимала им, потом закрыла глаза Эвелин. Медленно поднявшись, она направилась к дому, а за нею следовали рыдания — до самых дверей. И лишь за дверью она поняла, что и внутри нее все плачет.

Услыхав во дворе стук копыт, миссис Продд что-то буркнула себе под нос и выглянула в кухонное окно между канифасовых занавесок. В тусклом свете звезд, даже зная собственный двор, она с трудом разглядела лошадь и телегу для перевозки камней, а рядом собственного мужа, который вел лошадь в поводу. «Ну сейчас он у меня получит, — пробормотала она про себя, — бродит где-то по лесам… Я и ужин из-за него сожгла».

Но получить по заслугам Продду не удалось. Бросив один только взгляд на его широкое лицо, жена встревожено спросила:

— Что случилось, Продд?

— Дай-ка одеяло.

— За каким…

— Живее. Тут парень раненый. В лесу подобрал. Будто медведь его изжевал. Вся одежа — в клочья.

Она торопливо вынесла одеяло. Продд выхватил его прямо из рук и исчез в темноте. Через минуту он вернулся, неся через плечо худощавого юношу.

— Сюда, — проговорила миссис Продд, открывая дверь в комнату Джека. Когда, удерживая обмякшее тело, Продд нерешительно остановился на пороге, она сказала:

— Шагай, шагай, не думай про грязь, вытру.

— Тряпок и горячей воды, — скомандовал Продд. Она отправилась исполнять указание, а фермер осторожно приоткрыл одеяло. — О боже!

Жену он остановил возле порога:

— Кажись, до утра не протянет. Может, не мучить его… — Он глянул на дымящийся таз в ее руках.

— Попробуем. — Она шагнула в комнату и сразу застыла. Продд осторожно взял таз из рук побелевшей жены.

Он протянул до утра. А потом еще целую неделю, и тогда только Продды решили, что у парня еще есть надежда. Он лежал на спине в комнате, которую звали комнатой Джека, ничем не интересовался и ничего не ощущал, кроме света, бившего в окна. Он лежал и смотрел, может быть, наблюдал за окружающим, но, скорее всего, нет. С постели и видеть-то было нечего. Дальние горы, несколько акров земли Продда, на которых время от времени появлялся и он сам: далекая фигурка, ковыряющая упрямую почву сломанной бороной. Внутренняя суть лежащего замкнулась в себе и, отдавшись скорби, безмолвствовала. Внешняя оболочка тоже съежилась. Когда миссис Продд приносила еду — яйца и теплое сладкое молоко,

домашнюю ветчину и маисовые лепешки, — он ел, если она заставляла его, а если не настаивала, не обращал ни на женщину, ни на еду никакого внимания.

Вечерами Продд спрашивал:

— Ну, сказал что-нибудь? — и жена отрицательно качала головой.

Дней через десять ему пришла в голову мысль. По прошествии двух недель он изложил ее вслух.

— Ма, как по-твоему: он не чокнутый?

Она самым неожиданным образом вознегодовала:

— Как это — чокнутый?

Продд повел рукой.

— Сама знаешь, — тронутый, умишком хилый, вот как. Не говорит, потому что не может.

— Нет! — уверенно отвечала она. И, заметив вопросительный взгляд Продда, добавила: — Посмотри в его глаза. Разве у тронутых такие?

Глаза-то и он успел заметить. Взгляд их смущал его.

— Все-таки хотелось бы, чтоб он заговорил, — заметил Продд. — Как знать, может, парень вляпался во что-то такое, о чем лучше не помнить. Грейс-то, она поправилась, разве не так?

— Ну прежней-то она уже не стала, — ответила жена. — Но тем не менее переболела. Мне кажется, что иногда с нашим миром невозможно ужиться, и телу, так сказать, приходится отворачиваться от него, чтобы передохнуть.

Шли недели, раны зарастали, широкое плоское тело поглощало пищу, как кактус влагу. Никогда раньше в своей жизни не знал он отдыха, сытости и… Она сидела возле него и говорила. Пела песни… «Тихо теки, сладкий Афтон» и «Дома, на ранчо». Невысокая загорелая женщина с бесцветными волосами и выгоревшими глазами, охваченная голодом, подобным тому, что некогда терзал его. Она рассказывала застывшему, ни словом не отзывающемуся лицу о родне на востоке, о втором классе, о том, как Продд явился к ней свататься на «Форде-Т» своего босса, не умея даже водить машину. Она рассказала ему обо всем, что еще было живо в ее памяти: о платье, которое было на ней в день конфирмации, — тут клинышек, там клинышек, а здесь бантик, о том, как муж Грейс, в стельку пьяный, завалился домой: портки изорваны, под мышкой поросенок — да визжит, хоть затыкай уши. Она читала над ним молитвы и пересказывала по памяти Библию. Словом, выболтала все, что знала и помнила, но

умолчала о Джеке.

Парень никогда не улыбался в ответ и не отвечал, только глаза его поворачивались к ней, едва она входила в комнату, прочее же время он терпеливо глядел на дверь. Насколько глубока эта разница, она не знала, но выздоравливало не только израненное тело.

Так и настал тот день — Продды сидели за ужином (сами они звали его обедом), когда внутри Джековой комнаты послышались звуки. Обменявшись взглядом с женой, Продд приподнялся и распахнул дверь.

— Ну-ну, посиди, в таком виде нельзя выходить. Ма, брось-ка ему мою запасную робу.

Он был слаб и на ногах держался с трудом, но все же стоял. Ему помогли добраться до стула, он сел, тупо уставившись в одну точку пустыми глазами. Миссис Продд вывела его из этого состояния запахом пищи, поднеся под нос полную ложку. Взяв ее в свой широкий кулак, он втянул ложку в рот и поглядел на миссис Продд мимо ладони. Потрепав его по плечу, она сказала, что все прекрасно и он великолепно справляется с делом.

— Ну, Ма, что ж ты его за двухлетку считаешь? — откликнулся Продд. Должно быть, эти глаза снова смутили его.

Она остановила мужа движением ладони. Все поняв, он не стал продолжать. Только ночью, когда Продд думал уже, что жена спит, она внезапно сказала:

— Да, Продд. Придется считать его двухлеткой. Хорошо, если не меньше.

— Как так?

— С Грейс было примерно так же, — проговорила она, — но все-таки получше. Перед тем как начать поправляться, она сделалась словно бы шестилетней. С куклами возилась. А когда однажды ей не досталось яблочного пирога, чуть слезами не изошла. Получилось так, словно она снова начала расти. Быстрее, чем в первый раз, но все равно пошла той же дорогой.

— Ты думаешь, что и он окажется таким же?

— Разве он не похож на двухлетку?

— Первый раз вижу двухлетнего малыша ростом в шесть футов.

Она фыркнула с наполовину деланым несогласием.

— Значит, будем воспитывать его как ребенка.

Муж притих на какое-то время и наконец спросил:

— А звать-то как будем?

— Только не Джеком! — встрепенулась она. Он

согласно буркнул, не зная, что и сказать.

— Подумаем еще, — проговорила она, — у него ведь наверняка есть имя. Зачем ему новое? Придется подождать. Он вернется и вспомнит его.

На сей раз Продд надолго задумался и когда вымолвил:

— Ма, надеюсь на то, что мы поступаем правильно, — оказалось, что жена к этому времени уже уснула.

А потом пошли чудеса. Продды называли их успехами и достижениями, однако это были подлинные чудеса.

Однажды Продд с трудом вытаскивал из амбара длинный брус сечения двенадцать на двенадцать, а с другого конца его подхватили две сильных руки. Однажды миссис Продд обнаружила, что ее пациент держит клубок пряжи. И внимательно смотрит на него только потому, что шерсть была красного цвета. В другой раз парень, заметив возле насоса полное ведро, занес воду в дом. Впрочем, орудовать рукояткой насоса он обучился не скоро.

Когда он прожил у них ровно год, миссис Продд припомнила эту дату и испекла пирог. Повинуясь какому-то порыву, она воткнула в него четыре свечи. Продды, сияя, глядели на своего подопеч-

ного, а он не отводил взгляда от четырех язычков пламени. Эти странные глаза вдруг притянули сперва ее, а потом и Продда.

— А ну, задуй-ка, сынок.

Быть может, он представил себе это действие. Быть может, это произошло под воздействием тепла, источавшегося пожилой парой, излучавшегося ими добра и заботы о нем. Он все понял и, нагнув голову, дунул. Смеясь от радости, они окружили его. Продд похлопал его по плечу, а миссис Продд поцеловала в щеку.

Что-то повернулось в нем. Глаза закатились, так что на мгновение видны были одни белки. Мерзлое горе растаяло и хлынуло потоком: он заплакал. Это не был тот зов, тот контакт, тот обмен чувствами, который он испытал с Эвелин. Между этим переживаниями не было ничего общего, кроме силы. Однако сила пришедшего к нему чувства заставила его ощутить собственную утрату и поступить точно так, как было в момент ее. Он зарыдал.

Такие же громкие рыдания год назад навели на него Продда в сумраке леса. Комната эта была слишком мала для того, чтобы вместить его слезы. Миссис Продд никогда еще не слышала подобного звука. Продд слышал — в ту первую

ночь. И было трудно сказать, что хуже: слышать их впервые или во второй раз.

Обхватив руками его голову, миссис Продд принялась ворковать, утешая односложными звуками. Появившийся возле Продд нерешительно потянулся к его волосам, но потом передумал, ограничившись растерянным:

— Ну, ну… ну же.

Когда пришел срок, рыдания прекратились. Он озирался, хлюпая носом, что-то новое появилось в его лице. Словно исчезла бронзовая маска, которую обтягивала кожа лица.

— Прости, — сказал Продд. — Наверно, мы сделали что-то не так.

— Мы ничего плохого не сделали, — возразила жена. — Сам увидишь.

Он получил имя.

В тот вечер, рыдая, он осознал, что способен, если захочет, впитать мысль, послание тех, кто окружает его. Подобное случалось и прежде — налетало, как дуновение ветра, случалось столь же непроизвольно, как приходит чихание или дрожь. И он принялся вертеть и крутить перед собой это знание так, как некогда крутил клубок пряжи. Звуки, именуемые речью, пока ничего не значили для него, но он уже научился выделять

слова, что были обращены к нему, отличая их от тех, которые его не касались. Он так и не научился слушать других: понятия сами собой вползали в его голову. Идеи сами по себе не имеют формы, они настолько неясны, что облекать их в слова он учился с большим трудом.

— Так как тебя звать-то? — однажды спросил его Продд. Они как раз переливали воду из цистерны в поилку, и вид искрящейся под лучами солнца струи заворожил идиота. Вопрос вырвал его из глубин созерцания. Подняв глаза, он встретился взглядом с Проддом.

Имя. Он потянулся, потребовал. И слово это вернулось к нему с тем, что можно было бы назвать определением. Но пришло оно в облике чистой идеи. «Имя» есть то единое, чем являюсь я, — все, что я делал, чем был и что узнал.

И все это было рядом, ожидая единого символа — имени. Все скитания, голод, потеря и то, что хуже потери… отсутствие. Явилось смутное и неопределенное понимание того, что даже здесь, у Проддов, он не является сущностью, но замещает какую-то сущность.

Все один.

Он попытался выразить, произнести эти слова. Концепцию и лексику он почерпнул у Продда,

а заодно и произношение. Но понять — одно, осмыслить — другое, а физически выговорить звуки — третье. Окостенелый язык его шевельнулся сапожной подметкой, гортань задудела заржавелым свистком. Губы задергались.

— Всс, вс…

— Что, сынок?

Все один. Он сформулировал мысль ясно и четко, но выразить ее никак не мог.

— Вс-вс… о… один, — наконец выдавил он.

— Дин? — переспросил Продд.

Слог этот что-то говорил фермеру, он услышал в нем нечто знакомое, пусть и не то, что было в него вложено.

Идиот попытался повторить звук, но косный язык словно окаменел. Он отчаянно звал на помощь, просил подсказки…

— Дин, — повторил Продд.

Он кивнул в ответ: это было и первое его слово, и первый разговор — еще одно чудо.

Разговаривать он учился пять лет, но все же предпочитал обходиться без речи. А научиться читать так и не смог. У него не было для этого нужных средств.

Жили-были два мальчика, для которых запах хлорки на кафельных плитках был запахом

ненависти.

Запах этот будил в душе Джерри Томпсона чувства голода и одиночества. Этот запах пропитывал даже пищу и сон — сыростью, холодом, страхом, всем, из чего рождается ненависть. Только ненависть рождала какое-то тепло в мире, только в ней можно было не сомневаться. Человеку нужно быть хотя бы в чем-то уверенным, особенно когда полагаться можно на что-то одно, а тем более когда тебе всего шесть лет. В свои шесть лет Джерри успел уже во многом сделаться мужчиной, во всяком случае, по-мужски привыкнуть к тому серенькому довольству, возникающему, когда у тебя ничего не болит и тебя никто не трогает. Со стороны терпение его казалось несокрушимым, как у тех целеустремленных людей, что выглядят рассеянными, пока не настанет время решать. Люди обычно не понимают, что в шесть лет память человека так же, как у всех остальных, простирается к началу жизни и так же полна подробностей и событий. И за свою жизнь Джерри повидал достаточно бедствий, достаточно утрат и болезней, чтобы стать мужчиной. В шесть он уже научился принимать судьбу, покоряться ей, ждать и надеяться. Его небольшая сморщенная физиономия измени-

лась, в голосе не было больше слышно протеста. Так он прожил еще два года и наконец решился.

Тогда он и убежал из сиротского дома: чтобы жить самому, прятаться среди сточных канав и мусора, убивать, когда загоняют в угол, и ненавидеть.

Ну а Гип не знал голода, холода и раннего взросления. Для него дезинфекция пахла одной только ненавистью. Запах этот окружал его отца, его ловкие и безжалостные руки врача, его скромную одежду. Гипу казалось, что даже голос доктора Бэрроуза источает запах карболки и хлорки.

Гип Бэрроуз был блестящим и прекрасным ребенком, только мир не захотел стать для него прямым коридором, выложенным стерильным кафелем. Все ему давалось легко, кроме власти над собственным любопытством, и «все» это подразумевало хладнокровные сеансы исправления, осуществлявшиеся отцом его, доктором, человеком успешным, человеком нравственным, человеком, построившим карьеру на собственной уверенности и правоте.

Уже с детства способности Гипа обещали развиться быстро и ярко, словно взлетающая ракета, даровав ему все, о чем может мечтать мальчишка. Но воспитание вечно усматривало в подобной

легкости нечто вроде кражи: дескать, все ему достается вовсе не по заслугам… Так повторял его отец, доктор: ведь он-то тяжким трудом добивался успеха. Посему таланты Гипа приносили ему друзей и почести, а дружбы и почести несли с собой неуверенность и болезненное смирение, о которых он даже не подозревал.

Свой первый радиоприемник Гип соорудил лет, кажется, в восемь. Детекторный, даже катушки для него он наматывал сам. Чтобы не заметили, Гип запрятал его между пружинами матраса, там же скрыл наушники, чтобы ночью можно было послушать. Но отец его, доктор, нашел тайник и немедленно запретил мальчику даже прикасаться ко всяким проволокам и проводам. Ну а в девять лет отец его, доктор, добрался до припрятанных учебников и журналов по радиоэлектронике и, свалив их в кучу перед камином, целый вечер торжественно сжигал книги одну за другой. В двенадцать Гип добился права учиться в техническом колледже — за тайно изготовленный осциллограф без электродной трубки. Отец его, доктор, сам продиктовал мальчику текст отказа. В пятнадцать лет Гипа с треском выгнали из медицинского колледжа — так блистательно он сумел перепутать переключатели в лифтах, а

добавив несколько поперечных связей, добился, чтобы всякая поездка заканчивалась в абсолютно непредсказуемом месте. В шестнадцать, к обоюдному удовольствию порвав с отцом, он уже зарабатывал на жизнь в исследовательской лаборатории и занимался в политехническом колледже.

Рослого и талантливого парня все знали — он просто рвался к известности и легко добился ее, как бывало всегда, когда он чего-то хотел. Над клавишами пианино руки его становились удивительно невесомыми, шахматные комбинации отличались изяществом и быстротой. Пришлось овладеть искусством проигрывать: за шахматной доской, на теннисном корте и в сложной игре, именуемой «первый в классе, первый в школе». Времени хватало на все: говорить, читать, удивляться, слушать тех, кто понимал его. И на то, чтобы перелагать иным слогом всякое педантичное занудство, непереносимое в оригинале. Нашлось время и для радарных систем, а раз так — он и попал на эту работу.

В ВВС жилось иначе, чем в гражданском колледже. Он не сразу уразумел, что полковника смирением не умилостивить и не подкупить остроумием, как декана, властвующего над про-

стыми смертными. Еще ему пришлось постигать, что на военной службе яркая речь, физическое совершенство и легкий успех считаются недостатками, а не достоинствами. И вдруг оказалось, что он остался один в большей степени, чем хотелось бы, и в стороне от всех остальных в большей степени, чем можно было перенести.

Свое успокоение, мечты и несчастье он обрел в службе дальнего обнаружения самолетов.

Алисия Кью стояла в глубочайшей тени у края лужайки.

— Отец, отец, прости меня! — простонала она, в муках опускаясь на траву, слепая от горя и ужаса, потрясенная, разодранная конфликтом.

— Прости меня, — со страстью прошептала она.

— Прости меня, — шепнула она с презрением.

Почему ты еще не умер, Старый Черт, подумала она. Пять лет назад ты убил себя, убил мою сестру, а я все еще твержу: прости меня. Садист, извращенец, убийца, дьявол… *мужчина*, грязный, полный яда *мужчина.*

— Я ушла далеко, — томилась она, — я все там же… Как тогда я кинулась прочь от старого Джейкобса, доброго Джейкобса, адвоката, явившегося, чтобы помочь с телами. Ох, как я бежала тогда,

чтобы не остаться наедине с ним, чтобы он не обезумел и не отравил меня. Потом он привел с собой жену, а я бежала и от нее — ведь женщины тоже злы… Не скоро я поняла, как добра, как терпелива была со мной матушка Джейкобс, сколько сделала она ради меня же самой. «Детка, таких платьев не носят уже лет сорок!» А потом, в автобусе, я визжала от страха и никак не могла умолкнуть. Кругом были люди, они все спешили. Тела, много тел, открытых взгляду и прикосновению, тела на улицах, лестницах, картинки с телами в журналах, а на них мужчины, а в их объятиях женщины, смеющиеся и абсолютно ничего не боящиеся… Доктор Ротштейн объяснял и объяснял мне, возвращался и снова объяснял: нет никакого ядовитого пота, и есть мужчины и женщины. Иначе не будет людей… Мне пришлось научиться всему этому, отец, черт ты мой дорогой, все из-за тебя! Ведь это из-за тебя я не знала ни автомобиля, ни собственной груди, ни газет, ни железной дороги, ни гигиенических пакетов, ни поцелуя, ни ресторана, ни лифта, ни купального костюма, ни волос на… ох, прости меня, отец!

Я больше не боюсь кнута, просто руки и глаза подводят меня, благодаря твоему усердию, отец.

Но знай, настанет время, и я сумею жить среди этих людей, сумею ездить в их поездах, даже в собственном автомобиле. Тогда среди тысяч и тысяч я отправлюсь к морю, которое не знает предела, которое не оградишь частоколом, и я буду ходить там, как все остальные, и на теле моем останутся лишь две полоски из ткани, и все увидят мой пуп. Тогда я встречу белозубого парня, да-да, отец, парня, с налитыми силой руками. И я… ох, что будет со мной, какой я теперь стала, прости же, отец.

Я живу теперь в доме, которого ты не видел, окна глядят на дорогу, а по ней с ласковым шорохом проносятся яркие машины, и дети играют возле забора. Но забор — не железная ограда нашего дома, и дважды в день в нем открывают ворота: для деловых поездок и для прогулок. Всякий волен выйти наружу, и я уже могу глядеть сквозь занавески, а когда соберусь с духом — и на незнакомцев за окнами. В ванной комнате горит свет, а прямо напротив ванны — зеркало во весь рост. И однажды, отец, я выпущу полотенце из рук.

Все остальное будет потом: тогда я буду ходить среди незнакомцев и без страха ощущать их прикосновения. А пока время размышлений; быть одной и читать о мире и о трудах его, а еще о

таких безумцах, каким был ты сам.

Доктор Ротштейн твердит, что таких, как ты, много, но ты был богат и мог жить, как хотел!

Эвелин…

Эвелин так и не узнала о том, что отец ее был безумен. Эвелин никогда не видала картинок, изображавших отравленную плоть. Я жила в ином мире, чем тот, который теперь окружает меня. Однако ее мир был в такой же мере иным, миром, который я и отец сотворили ради ее чистоты…

Интересно… хотелось бы понять, каким образом тебе хватило совести разнести выстрелом свои гнилые мозги…

Ей припомнился облик мертвого отца, и это почему-то успокоило ее. Алисия встала, глянула в сторону леса, старательно обозрела луг — тень за тенью, дерево за деревом.

— Хорошо, Эвелин, я сделаю, сделаю это…

Она глубоко вздохнула, задержала дыхание в груди. Потом зажмурилась — так, что чернота заалела. Руки сами собой пробежали по пуговицам, платье упало к ногам. Единым движением Алисия освободилась от белья и чулок. Шевельнулся воздух, и неописуемым стало его прикосновение к телу. И, шагнув в луч солнца, со слезами ужаса,

проступавшими сквозь стиснутые ресницы, закружилась в танце нагая, в память об Эвелин. И молила, молила отца о прощении.

Джейни было четыре года, когда она запустила пресс-папье в лейтенанта, руководствуясь неосознанным, но верным ощущением, — тому действительно нечего было болтаться в их доме, пока папа воевал за морем. Лейтенант получил трещину черепа и, как часто бывает при таких повреждениях, впоследствии так никогда и не смог вспомнить, что при этом Джейни находилась в десяти футах от брошенного ею предмета. За этот подвиг мать хорошенько проучила девочку. Трепку Джейни восприняла с обычной невозмутимостью. И присоединила к прочим обстоятельствам, указывающим на то, что лишенная контроля сила обладает собственными недостатками.

— От нее у меня самой мурашки по коже бегают, — говорила потом ее мать новому лейтенанту. — Я не переношу эту девчонку. Ты ведь не думаешь, что со мной что-то не так, раз я говорю такое, правда?

— Не думаю, — отвечал другой лейтенант, наперекор собственным мыслям. И она пригласила его зайти днем, вполне уверенная в том, что если

он увидит ее дитятко, то все поймет.

Он зашел и понял. Не ребенка. Ее-то как раз никто и не понимал, — понял он чувства матери. Джейни стояла прямехонько, подняв вверх лицо и расправив плечи. Широко расставив ноги, словно обутые в сапоги, она помахивала куклой, как стеком. Девочка держалась собранно, что в ее годы несколько необычно. Пожалуй, она была меньше, чем следовало бы в ее возрасте. Острые черты лица, узкие глаза, тяжелые надбровья. Пропорции ее тела также не были типичны для большинства четырехлеток, способных легко перегнуться в пояснице и достать лбом пол. Для этого торс ее был, пожалуй, излишне короток, а ноги чересчур длинны. Говорила она с милой четкостью и убийственным отсутствием такта. Лейтенант неуклюже присел и проговорил:

— Адски рад, Джейни. Будем друзьями?

— Нет. От тебя разит совсем как от майора Гренфелла.

Майор Гренфелл был непосредственным предшественником травмированного лейтенанта.

— Джейни! — с опозданием осадила девочку мать. И уже спокойнее добавила: — Ты прекрасно знаешь, что майор забегал к нам только для того, чтобы выпить коктейль.

Джейни оставила слова матери без ответа, взрослые смущенно молчали. Тот, второй лейтенант как-то разом вдруг понял, что сидеть на корточках в форме — дело дурацкое, и распрямился настолько поспешно, что задел сервировочный столик. Джейни с кровожадной улыбкой глядела на его трясущиеся руки, пока тот подбирал с пола осколки. Потом он быстро ушел и более не появлялся.

Теперь у матери Джейни оставался только один выход — брать числом. Вопреки строжайшему запрету, однажды вечером Джейни явилась как раз во время четвертого бокала гибсона[1] и замерла в конце гостиной, окинув оскорбительным взглядом серо-зеленых глаз разгоряченные лица. Пузатый светловолосый мужчина, державший руку на плечах ее матери, поднял свой бокал и выкрикнул:

— А вот и она, малышка Вимы!

Все находившиеся в комнате головы дружно повернулись на голос с одновременностью сервопереключателей, и в наступившей тишине Джейни произнесла:

— А у тебя…

---

[1] Сноски: 1

Гибсон — коктейль: сухое мартини с маринованной луковицей вместо маслины.

– *Джейни!* — воскликнула мать. Кто-то расхохотался, и после того как смех умолк, девочка закончила: — Много жира…

Мужчина снял руку с плеч Вимы. Кто-то выкрикнул:

— Чего-чего, Джейни?

Согласно веяниям военного времени, Джейни добавила:

— Хоть на убой!

Вима оскалилась.

— Беги-ка в свою комнату, дорогая. Сейчас приду и уложу тебя.

Кто-то из гостей посмотрел на блондина и расхохотался. Кто-то громко шепнул:

— Се грядет воскресный бекон.

Никакой шнурок не мог бы заставить упитанного мужчину поджать губы в столь идеальный кружок, отчего нижняя губа его сделалась похожей на каплю клубничного джема, выжатого из сэндвича.

Джейни невозмутимо отправилась к двери и остановилась, оказавшись закрытой кем-то от глаз матери. Болезненного вида молодой человек, блеснув черными глазами, наклонился вперед. Джейни посмотрела ему в глаза. На лице молодого человека отразилось внутреннее

возбуждение. Рука его дернулась вперед, вверх, наконец успокоилась на лбу. Потом соскользнула вниз и прикрыла черные глаза. Проговорив так, чтобы было слышно только ему:

— Больше не делай так, — девочка оставила комнату.

— Вима, — с внезапной хрипотцой произнес молодой человек, — эта девочка — телепат.

— Ерунда, — ответила Вима, все внимание которой было сосредоточено на надувшемся толстяке. — Все положенные витамины она получает каждый день.

Юноша попытался подняться на ноги, проводил взглядом ребенка, однако осел на свое место, промолвив:

— Боже, — и погрузился в мрачные раздумья.

Когда Джейни исполнилось пять, она научилась играть с маленькими девочками. Они заметили это не сразу. Малышкам было года по два с половиной, и они были похожи как две капли воды. Разговоры близнецов, если они и впрямь говорили, складывались из тонкого визга. Девочки кувыркались на асфальте двора, словно на лужайке.

Сначала Джейни наблюдала за их игрой, перегнувшись через подоконник с высоты четырех с

половиной этажей, и копила во рту слюну, пока не набирался подходящий заряд. Тогда она вытягивала шею, надувала щеки и выпускала его. Близняшки игнорировали подобную бомбардировку, когда пущенный сверху снаряд падал на асфальт, однако разражались самым уморительным писком и визгом, если она попадала в цель. Им не приходило в голову посмотреть вверх, они просто носились в недоумении по двору.

А потом появилась другая игра. Когда наступили теплые дни, близняшки надумали выскакивать из своих комбинезончиков. Делали они это с молниеносной быстротой. Вот стоят две девочки-паиньки, и вдруг одна или обе оказываются футах в пятнадцати от свалившейся кучкой одежды. Потом, визжа и суетясь, они принимались забираться обратно в костюмчики, бросая при этом опасливые взгляды на подвальную дверь. Тогда-то Джейни и обнаружила, что, если хорошенько сосредоточиться, можно передвинуть костюмчик подальше. Забравшись на подоконник и выкатив глаза от усердия, она с увлечением предавалась новой забаве. Поначалу одежда лишь слегка шевелилась, словно от прикосновения внезапного ветерка. Но вскоре костюмчики начали ползать по асфальту плоскими крабами. Ей чрезвычайно

нравилось, как верещат девчушки, догоняя свою одежонку. Теперь они стали снимать комбинезончики с осторожностью, так что порой Джейни приходилось минут по сорок дожидаться подходящего момента. А иногда она затаивалась, и близнецы, голенькая и одетая, кругами ходили возле одного из костюмчиков, карауля его, как два котенка жука. И потом наносила удар: комбинезончик взлетал, малышки бросались в погоню, и иногда немедленно ловили его, а иной раз она гоняла девчонок до тех пор, пока малышки не начинали пыхтеть, как маленькие паровички.

Джейни узнала причины особенного внимания, уделяемого ими подвальной двери, когда однажды вечером ей удалось поднять комбинезончики вверх, вместо того чтобы гонять по двору. Она надолго оставила девчонок в покое, так что они потеряли осторожность, вылезали из одежки, отходили от нее, возвращались обратно, словно бы задирая свою незримую противницу. Однако она все-таки ждала, и вот наконец оба костюмчика оказались вместе, в одной бело-розовой кучке. Тут она и нанесла свой удар. Комбинезончики взвились по крутой восходящей кривой и закончили свой путь на подоконнике второго этажа. Поскольку двор находился чуть

ниже улицы, одежонка оказалась футах в шести от земли, вне пределов досягаемости малышек. Тут Джейни и оставила ее.

Одна из малышек выбежала на середину двора и принялась в волнении подпрыгивать на месте, стараясь вытянуть шею и заглянуть повыше. Другая, наоборот, подбежала к стене под этим окном и насколько могла вытянула руки вверх, доставая крохотными ладошками только до кирпичей, находившихся в двадцати четырех дюймах под подоконником. Потом они бросились навстречу друг другу и тревожно защебетали. Через какое-то время они еще раз попробовали достать до подоконника, но уже вместе. Все чаще и чаще теперь они поглядывали на подвальную дверь, и к страху примешивалось все меньше и меньше удовольствия.

Наконец девчонки уселись на землю как можно дальше от двери, обнялись и замерли. Они постепенно притихли, щебет превратился сперва в чириканье, а потом в робкое воркованье, и наконец девочки умолкли совсем, превратившись в два сотканных из страха комочка.

Прошли, должно быть, часы — да что там, недели, — прежде чем Джейни услышала стук и увидела, как шевельнулась дверь. В ней появился

привратник, как всегда, утомленный общением с бутылкой. Она ясно видела набрякшие красные полумесяцы под пожелтевшими белками глаз.

— Бони! — рявкнул он. — Бини! Где вы? — Шагнув вперед, он огляделся. — Куда подевались? Только поглядеть на них! Вот так номер! Куда штанцы подевали?

Он спикировал на них и зажал в огромных кулаках по крошечной ручонке. Поднял обеих в воздух, так что девчонки могли касаться земли разве что одним пальчиком ног, а плененные локотки указывали в небо. Он обернулся, разыскивая взглядом комбинезончики, раз, другой, и наконец заметил их над своей головой.

— Как это вы умудрились? — потребовал он ответа. — Ишь ты, чего натворили! Надо же — бросаться такими дорогими штанами. Придется отшлепать.

Опустившись на одно колено, он пристроил оба детских тельца на бедре другой ноги. Вполне возможно, что он складывал чашечкой карающую ладонь, производя не столько боль, сколько звук, однако, тем не менее, шума вышло много. Джейни хихикнула.

Отпустив каждой из близняшек по четыре увесистых шлепка, он поставил малышек на ноги.

Они молча смотрели, прикрывая ладошками попы, как отец подошел к подоконнику и снял с него комбинезончики. Бросив костюмчики к ногам дочерей, погрозил им пальцем правой руки:

— Только попробуйте устроить такую штуку еще раз, и я попрошу мистера Мильтона, который кондуктор, повесить вас за уши. Слышали?

Девочки прижались друг к другу, глядя на него круглыми глазами, привратник направился к двери и громко захлопнул ее за собой.

Близняшки неторопливо залезли в комбинезончики, отправились в тень стены и уселись на корточки, прижавшись к кирпичу спинами. Они что-то шептали. Никаких забав у Джейни в тот день уже не было.

Через улицу напротив дома Джейни располагался парк. Там стояла раковина для оркестра, протекал ручей, в проволочной клетке разгуливал облезлый фазан. А посреди парка росла густая рощица карликового дуба. Глубоко в чаще таилась полоска утоптанной земли, о которой знала одна только Джейни и еще тысяча с гаком попарно пользовавшихся ею по ночам персон. Однако Джейни ни по ночам, ни по вечерам там не бывала, а потому считала себя ее первооткрывательницей и хозяйкой.

Дня через четыре после эпизода со шлепками она вспомнила об этом уголке. Близнецы надоели Джейни, ничего интересного они больше не делали. Мать ее отправилась с кем-то обедать, заперев дочь в ее комнате. Увидев такое, один из дежурных поклонников спросил: «Вима, а как же девочка? Что, если случится пожар или еще что-нибудь в этом роде?» — «Дай-то бог», — отозвалась женщина.

Дверь в комнату дочери была заперта снаружи на крючок, Джейни подошла к двери и пристально поглядела в то место, где он находился. Легкое позвякиванье возвестило о том, что крючок приподнялся и упал. Открыв дверь, девочка вышла в прихожую, из нее направилась к лифтам. Сама открылась дверца, Джейни вошла в кабину и нажала кнопки третьего, второго и первого этажей. Лифт опускался на этаж, останавливался, открывал дверцы, закрывал их, спускался снова, останавливался, открывал… Джейни следила за скольжением дверей, завороженная методичной повторяемостью их движения. Оказавшись внизу, она нажала все кнопки и выскочила из кабины. Глупый лифт послушно пополз вверх. Джейни снисходительно вздохнула и вышла на улицу.

Внимательно поглядев в обе стороны, она перешла дорогу. Но к рощице подходила отнюдь не чопорная леди. Она сразу полезла на дуб и, минуя развилки, поползла по ветви, которая, как ей было известно, нависала над ее укромным местечком. Ей почудилось, что внизу что-то движется. Девочка спустила ноги и принялась перебирать руками, пока ветка сильно не наклонилась, а затем выпустила ее из рук.

До земли оставалось всего восемь дюймов — обычно оставалось. Но на этот раз…

В тот самый миг, когда пальцы Джейни разомкнулись, ноги ее вдруг сами собой уехали назад, и девочка рухнула вниз. Она упала на землю животом. Руки ее сложились на уровне собственного живота; соприкосновение с землей развернуло их и вогнало ее кулак в солнечное сплетение. Невыразимо долгое время она не ощущала ничего, кроме слепящей боли. Она пыталась и пыталась преодолеть ее и наконец с трудом сделала первый вздох. Выдох оставил ее ноздри, но снова вздохнуть ей никак не удавалось. Всхлипывая, с шипением она пыталась сделать новый вдох, и боль отступила.

Наконец Джейни удалось опереться о землю локтями, и она сплюнула все, что накопилось во

рту, то ли пыль, то ли грязь. Наконец приоткрыв глаза, Джейни увидела перед собой в считаных дюймах одну из близняшек.

— Хо-хо, — сказала та и резко дернула Джейни за запястье.

Джейни вновь зарылась в землю лицом. Инстинктивно подтянула колени. И немедленно заработала колючий удар по попе. Обернувшись, она заметила между деревьев вторую близняшку. Та сжимала крошечными лапками доску от ящика.

— Хи-хи, — поприветствовала близняшка свою знакомую.

Джейни сделала ей то же самое, что сделала болезненному и черноглазому молодому человеку на той пирушке.

— Иип, — ответила близняшка и исчезла, мелькнув в воздухе — так мелькает пущенная из пальцев апельсиновая косточка… Дощечка от ящика упала на землю. Схватив ее, Джейни нанесла удар. Вооружившись палкой, она развернулась для удара по голове той из них, что тянула ее за руки. Но ее орудие лишь попусту рассекло воздух. Перед Джейни никого не было.

Поскуливая, она поднялась на ноги, оказавшись в одиночестве в тени своего убежища. Она

повернулась, повернулась еще раз. Рядом никого не было.

Что-то мягкое плюхнулось прямо на ее макушку. Мокрое, ощутила она, проведя рукой по волосам. Посмотрев наверх, она увидела, как летит вниз плевок другой близняшки. Он приземлился ей прямо на лоб.

— Хо-хо, — сказала одна из них.

— Хи-хи, — подтвердила вторая. Джейни оскалила зубы, в точности так, как делала это ее мать. Дощечка от ящика все еще оставалась в ее руке, и она изо всей силы метнула ее в своих обидчиц. Одна из близняшек даже не подумала шевельнуться, другая исчезла.

— Хо-хо, — так вот же она, на другой ветке! Джейни метнула в обеих такой заряд ненависти, какого не могла даже представить себе.

— Ууп, — сказала одна.

— Иип, — проговорила другая. А потом обе исчезли.

Стиснув зубы, Джейни подпрыгнула, уцепилась за ветку и полезла на дерево.

— Хо-хо, — послышалось издалека.

Она принялась озираться по сторонам, что-то заставило ее поглядеть через улицу.

Две крохотные фигурки парой горгулий сидели

на стене, непринужденно болтая ногами. Помахав ей, обе исчезли.

Долго, вцепившись в ветку, она оставалась на дереве, а потом позволила себе соскользнуть к стволу и устроиться на ветке спиной к нему. Расстегнув пуговку на кармане, она достала из нее платок, хорошенько облизала его краешек, намочив, и короткими кошачьими движениями принялась стирать грязь с лица.

– *Им же всего по три года,* — сказала она себе с высоты собственных лет. И потом… *значит, они прекрасно знали, кто двигал их костюмчики.*

— Хо-хо… — проговорила она, не пряча более восхищения. Гнев угас. Еще четыре дня назад близнецы даже не могли достать до подоконника, были беспомощны перед наказанием. А теперь — гляди-ка.

Она спустилась с дерева и перешла через улицу. В вестибюле Джейни встала на цыпочки и нажала сияющую медную кнопку под табличкой «Привратник». Ожидая, она то носком, то пяткой переступала по узору кафеля под ногами.

— Кто трогал? Ты трогала? — Громовые раскаты заполнили округу.

Подойдя поближе, она сложила губы, как делала мать, когда мурлыкала в телефонную трубку.

— Мистер Уиддикомб, моя мать сказала, что я могу поиграть с вашими маленькими девочками.

— Она так сказала? Ну! — Сняв с головы круглую шляпу, привратник ударил ею о ладонь и снова надел. — Ну! Это хорошо… малышка, — и строгим тоном добавил: — А мать-то дома?

— О *да*, — ответила Джейни, прямо-таки сияя уверенностью.

— Тут подожди, — буркнул он и забухал ногами по подвальной лестнице.

На сей раз ждать пришлось минут десять. Близняшки, которых привратник вел за руки, глядели недоверчиво.

— И не разрешай им проказить. Смотри, чтобы обе были одеты. И то, вишь, одежа им нужна, как мартышкам в лесу. Идите, дурехи, — и не уходить никуда, не сказавшись.

Близнецы опасливо приближались. Она взяла обе ладошки. Девочки заглядывали ей в лицо. Джейни направилась к лифтам, и они последовали за ней. Привратник добродушно ухмылялся вслед.

С этого мгновения жизнь Джейни переменилась. Настало время слияния, время общения, время стремящихся навстречу чувств. Для своих

лет Джейни знала просто невероятное множество слов, хотя по большей части ей приходилось молчать. Близнецы же не научились еще говорить. Оказалось, что их собственный словарик из писка и визга только сопровождал иной способ общения. Джейни заметила это, прикоснулась, — и вдруг открылось и хлынуло. Мать боялась и ненавидела ее. А отец всегда был какой-то отстраненной, далекой и сердитой сущностью… его вечно не было рядом, или же он кричал на мать или угрюмо замыкался в себе. К ней обращались, но с ней не разговаривали.

Здесь же вовсю лилась беседа, подробная, легкая, увлекательная. Без единого звука, только смех сопутствовал ей. Они молчали, сидели на корточках, листали ее красивые книжки, а потом вдруг наступала очередь кукол. Джейни показала девочкам, как, сидя на ковре, доставать шоколадки из коробки в соседней комнате и как, не прикасаясь к подушке руками, подбросить ее к потолку. Им понравилось, но больше всего заинтересовали малышек краски и мольберт.

Общение было для них чем-то меняющимся и постоянным, сиюминутным и вечным. Каждое мгновение оказывалось неповторимым.

День скользил мимо тихо и плавно, как при-

брежное дуновение и столь же быстро. Когда наконец хлопнула дверь и послышался голос Вимы, близняшки все еще были у Джейни.

— Вот и хорошо, вот и прекрасно, самое время немного выпить. — Она сорвала шляпку, волосы рассыпались по плечам. Мужчина привлек ее к себе, сжал в объятиях, как видно не рассчитав силу. Вима взвилась:

— У, дурак…

И тут она заметила трех девочек, выглядывавших из двери.

— Господи боже, — выговорила мать, — теперь она натащила полный дом негритят!

— Они уже уходят домой, — решительным тоном проговорила Джейни. — Я сейчас отведу их.

— Ей-богу, Пит, — обратилась она к мужчине, — ей-богу, впервые вижу подобное в моем доме. Теперь ты подумаешь, что здесь всегда творится такое. Пит, я боюсь даже представить, что ты сейчас думаешь. Эй, немедленно гони их отсюда, — приказала она Джейни.

Джейни пошла к лифтам. Она глянула на Бони и Бини. Глазенки их округлились. Во рту Джейни сделалось сухо, как в пустыне, и ноги ее подгибались от страха. Погрузив близняшек в лифт, она нажала нижнюю кнопку, даже не попрощавшись

с ними.

Она медленно вернулась в квартиру и затворила за собой дверь. Мать соскочила с колен мужчины и, стуча каблуками, бросилась к дочери. Зубы ее блестели, подбородок был влажен. Она занесла над девочкой когтистую лапу — не руку, не кулак — пятерню с острыми алыми когтями.

Что-то заскрежетало внутри Джейни, словно зубы о зубы. Она шла вперед, не останавливаясь. Сложив за спиной руки, она задрала вверх подбородок, чтобы встретить взгляд матери.

Голос Вимы смолк, его словно ветром сдуло. Она висела над пятилеткой, выставив когти, словно увенчанная кровавой пеной и готовая обрушиться волна.

Обойдя ее стороной, Джейни направилась в свою спальню и спокойно прикрыла за собой дверь.

Руки Вимы странным образом отбросило назад — так, словно бы они были обязаны следовать траектории собственного движения. Она не сразу обрела власть над ними, как и равновесие, и наконец голос. Зубы гостя коротко звякнули о бокал. Вима направилась к нему через комнату, опираясь на мебель, как на костыли и подпорки.

— Боже, — пробормотала она, — у меня самой от нее мурашки по телу…

— Веселенькое у тебя здесь местечко, — отозвался гость.

Джейни лежала в постели, ровная, гладкая и аккуратная, как круглая зубочистка. Ничто не проникнет внутрь, ничто не выйдет наружу; она не помнила, где и как отыскала такую оболочку, покрывавшую ее целиком. Но твердо знала: пока оболочка цела, ничего плохого с ней не случится.

Но если случится, послышался шепоток, *ты переломишься*.

Но если я не переломлюсь, ничего не случится, отвечала она.

Но если случится…

Ночные часы чернели, черные часы уходили в ночь.

Распахнулась дверь, вспыхнул свет.

— Он ушел. Теперь, детка, я с тобой разберусь. Убирайся отсюда! — Купальный халат Вимы задел за дверной косяк; развернувшись, она вылетела из комнаты.

Откинув одеяло, Джейни спустила ноги и, не вполне понимая причину, принялась одеваться. Надела платьице из шотландки, колготки,

туфельки с пряжками, фартучек с кружевными зайчиками. Завязки на кофточке напоминали пушистые короткие хвостики.

Вима сидела на кушетке и колотила по ней кулаком.

— Ты испортила весь мой празд… — она приложилась к бокалу на квадратной ножке, — …здник, а стало быть, имеешь право узнать, что я праздновала. Ты этого не знала, однако у меня были большие неприятности, и я не знала, как с ними справиться. Но теперь все уладилось само собой. И теперь я все тебе расскажу, моя маленькая мисс Длинные Уши — Большой Рот, Умница моя. С твоим-то отцом я могла управиться в любое время, но что мне было делать с твоим ртом, который не закрывается ни днем, ни ночью? Но теперь все в порядке, он не вернется. Гансы разобрались с ним без меня. — Она помахала желтым листком. — Умные девочки знают, что это такое, это называется телеграмма, и вот что она говорит, слушай: «С прискорбием извещаем, что ваш муж…» Пристрелили твоего отца, вот что это значит. А теперь мы с тобой будем жить так. Я делаю все что хочу, а твой нос будет направлен в другую сторону. Не правда ли, хорошо я придумала?

Она повернулась, ожидая ответа. Но Джейни

не было. Вима знала, что поиски напрасны, но что-то все же заставило ее броситься в прихожую, к шкафу, заглянуть на его верхнюю полку. Кроме елочных игрушек, там ничего не было, да и к тем не прикасались уже три года.

Вима в растерянности стояла посреди гостиной.

— Джейни? — шепнула она.

Она прикоснулась к щекам руками, откинула с них волосы. И, поворачиваясь на месте, все спрашивала:

— Что-то со мной происходит?

Продд говаривал: «Что хорошо с фермой, так это если хороший базар — будут деньги, если плохой — будет харч». Впрочем, в его собственном доме этот принцип не соблюдался: контакты с рынком были сведены к минимуму. До города ехать далеко, а что делать, если сломается зуб на конных граблях? Э, у нас остается рабочее большинство… а если еще пара отлетит… или восемь или двенадцать? А теперь зайдем с другого конца. Никакой дороги здесь никогда не будет, ферма не разрастется, с ней всегда можно будет управиться. Даже война прошла в стороне от них: Продд уже не годился в солдаты, а Дин — что ж, шериф однажды заехал к ним, посмотреть на полудурка,

работающего на Продда, и одного взгляда ему вполне хватило.

Когда Продд был молод, на этом месте уже стояла небольшая ферма. Приведя в нее жену, он кое-что пристроил к дому — так, комнатенку. Теперь в ней спал Дин, однако это было не совсем то, ибо предназначалась она не для него.

Перемену Дин ощутил прежде, чем кто-либо другой, раньше самой миссис Продд. Вдруг ее молчание стало иным. Она исполнилась горделивого самосозерцания. И Дин ощущал в нем перемену — так меняется гордость человека, когда он обращается от своей любимой драгоценности к своему любимому зеленому побегу. Дин молчал и не делал никаких выводов, он просто знал.

Как и всегда, он принялся за работу. Руки его были умелыми, и Продд говаривал, что наверняка парень прежде работал на ферме, до того как с ним случилось несчастье. Говорил он эти слова, не зная того, что его собственный способ работы был доступен Дину, как вода из колодца. Как и все остальное, что Дин хотел взять.

В тот день, когда Продд спустился на южный луг, где Дин, шагавший и поворачивавшийся, словно превратившийся в часть шепчущей косы, уже знал, что тот хочет сказать. Поймав своими

странными глазами на полмгновения взгляд Продда, он понял, что сказать то, что он хотел, тому будет нелегко.

С пониманием теперь у него не было никаких трудностей, сложности возникали с тонкостями выражения. Прекратив косить, он вышел на лесную опушку и уронил косу острием в подгнивший пенек. А потом попытался совладать со своим языком, все еще толстым и неуклюжим после восьми проведенных у Продда лет.

Продд медленно следовал за ним. Он также продумывал, что сказать.

Слова вдруг сами пришли к Дину.

— Я думал, — проговорил он и замолчал. Продд был рад отсрочке. Дин продолжил: — Я должен идти, — это было неточно, — идти дальше, — поправился он. Так уже лучше.

— Ну, Дин. Зачем… куда?

Тот поглядел на фермера. *Потому что ты сам этого хочешь.*

— Разве тебе плохо у нас? — произнес Продд, сам того не желая.

— Нет, — ответил Дин, прочитав мысли Продда: *Знает ли он*? Собственный разум отозвался: *конечно, знаю*, — и вслух добавил: — Пришло время идти дальше.

— Хорошо. — Продд пнул камень. Повернулся, глянул в сторону дома, так чтобы не видеть Дина, и тому сразу сделалось легче. — Когда мы поселились здесь, мы построили комнату… Джекову, *твою*, если хочешь, ту, в которой ты живешь. Мы с Ма зовем ее комнатой Джека. А почему, знаешь?

Да, — подумал Дин.

— Ну раз ты… раз ты сам собрался от нас, все не так уж и важно. Джек — это наш сын. — Он стиснул кулаки. — Я понимаю, со стороны все это выглядит просто смешным. Джек… мы так были уверены в нем, даже отвели ему комнату. А он, Джек… — Продд вновь глянул на дом, на пристройку, на лес, охватывавший усадьбу зубастым кольцом, из которого кое-где выдавались клыки скал, — так и не родился.

— Ах, — протянул Дин, словцо это, полезное такое, он перенял у Продда.

— А теперь мы ждем его, — разом выдохнул Продд, лицо его просветлело. — Конечно, мы уже староваты, но я знавал папаш и постарше, мамочек тоже. — Он снова поглядел на дом, на амбар.

— Все-таки это справедливо, Дин. Припоздниился он, да. Сейчас был бы взрослый, работал со мной. Когда он вырастет, ни меня, ни Ма,

понятно, уже здесь не будет, вот он и приведет маленькую женушку и начнет все сначала, как мы. Ну разве не справедливо? — Голос его умолял, Дин не пытался понять его.

— Слышь, Дин, не думай, мы тебя не выставляем.

— Я же сказал, что ухожу. — Он искал и что-то нащупал и поправился. — Еще до того, как ты сказал мне. — *И это,* подумал он, *действительно так*.

— Вот что, я должен что-то тебе сказать, — проговорил Продд. — Вот, говорят, бывают такие люди, которые хочут детей и не получается у них, вот иногда они перестают надеяться и берут кого-то еще. И вот когда они уже кого-то взяли, вдруг оказывается, что у них получается собственное дите.

— Ах, — проговорил Дин.

— Вот я и хочу сказать, что мы тебя взяли, так ведь, и вот оно что вышло.

Дин не знал, что на это сказать. «Ах» — казалось совершенно не к месту.

— Мы должны за многое поблагодарить тебя, вот что я хочу тебе сказать, так чтобы ты не думал, что мы тебя выставляем.

— Я уже сказал.

— Ну и хорошо. — Продд улыбнулся. На лице его было много морщинок, в основном тех, которые бывают от улыбки.

— Хорошо, — отвечал Дин, — с Джеком ясно. — Он с неудовольствием кивнул — Хорошо.

Он снова взял в руки косу, подойдя к незаконченному валку, он посмотрел в спину Продду. *Идет медленнее, чем обычно*, отметил он.

Наконец в голову Дина пришла разумная мысль: «Хорошо. С этим покончено». «С чем покончено?» — спросил он у себя самого.

И, оглядевшись, проговорил: «С косьбой». И только тут осознал, что после разговора с Проддом проработал более трех часов, так, как если бы на поле работал вместо него кто-то другой. Сам он при этом в известном смысле — *отсутствовал*.

Рассеянно взяв брусок, он принялся править косу. Медленно проводя им вдоль лезвия, он извлекал из него бульканье кипятка, а если быстро — короткий предсмертный вопль землеройки.

Откуда ему знакомо это ощущение уходящего времени — как бы куда-то за спину?

Он медленно водил по косе камнем. Пища, тепло и работа. Именинный пирог. Чистая постель. Чувство причастности. Он не знал этого мудрено-

го слова, но он ощущал именно сопричастность.

Нет, исчезнувшего времени не было в этих воспоминаниях. Он задвигал бруском быстрее.

Из леса раздался предсмертный крик какого-то зверя. Одинок охотник, одинока и жертва. Капает живица, спит медведь, птицы улетают на юг… все это происходит одновременно, не только потому, что все они — часть единого целого, но потому, что все одиноки перед лицом одного и того же.

Так случалось там, где время проходило за пределами его ведения. Почти всегда до того, как он попал сюда. И так он теперь жил.

Но почему оно должно возвращаться к нему… теперь и тогда?

Дин окинул взглядом окрестности, как это делал Продд, вбирая дом, и неровный бугор, и поле, и чашу леса, ободком своим охватывавшую поле. Когда я был один, время всегда текло мимо меня. Теперь время снова течет мимо, а это значит, что я должен снова остаться один.

И тогда он понял, что всегда был один. Все это время миссис Продд воспитывала не его. Глаза Ма видели в нем Джека. Она воспитывала своего сына.

Там, в лесу, в воде и боли, он был частью чего-то, и это нечто было исторгнуто из него посреди

влаги и муки. И если восемь лет полагал он, что нашел нечто такое, частью чего может считать себя, то восемь лет ошибался.

Гнев был ему чужд, он испытал его только однажды. И теперь гнев вдруг накатил, приливом, могучей волной, оставившей его слабым и беспомощным. И предметом внезапной ярости стал он сам. Разве не знал он об этом? Разве имя такое принял, не понимая, что в сути имени воплощается все, чем был он и что делал. *Один*. С чего это вдруг он возмечтал об иных ощущениях?

Неправильно. Неправильно это, как белка с перьями, как волк со вставной деревянной челюстью… Однако не сказать, чтобы несправедливо или нечестно, просто неправильно… не-пра-виль-но, что под солнцем не может существовать… сама идея о том, что и таким, как он, можно принадлежать к чему-то.

Слышал, *сынок*? Слышал, *парень*?

Слышал, Дин?

Подобрав три свежескошенных длинных стебля мятлика, он переплел их. Потом поднял косу вверх, глубоко воткнул ее в землю и прядкой травы примотал к рукоятке брусок — чтобы не свалился. И ушел в лес.

Было уже слишком поздно даже для полунощ-

ных обитателей рощицы. В кустах, у подножия остролиста, стало холодно и черно, как в сердце покойника.

Она сидела на голой земле. Шло время, она чуть съезжала вниз, юбочка понемногу задиралась вверх. Ноги заледенели, особенно там, где к ним прикасался холодный ночной воздух. Однако она не стала одергивать юбку, потому что это было неважно. Рука ее не выпускала пушистый помпончик на кофточке — часа два назад Джейни еще гладила его и думала: как это, наверное, интересно — стать зайкой. Но теперь ей было уже все равно, что там в кулачке — пуговичка или заячий хвост.

Она уже успела извлечь все, что могла, из своего пребывания здесь, она успела узнать, что если оставить глаза открытыми до тех пор, пока не моргнуть уже будет нельзя, но все-таки не моргнуть, то они начнут болеть. А если оставить их открытыми и после того, боль будет становиться все сильнее и сильнее. Но если перетерпеть и это, глаза вдруг перестанут болеть.

Здесь было слишком темно для того, чтобы можно было понять, будут ли глаза ее видеть после всего этого.

Кроме того, она узнала, что если долго-долго

сидеть совсем неподвижно, то тебе тоже будет больно, а потом боль пройдет. Но тогда нельзя шевельнуться даже на чуть-чуть, потому что тогда боль вернется с еще большей силой.

Если раскрутить волчок, он встанет прямо, а потом начнет ходить по комнате. А когда он замедляет вращение, то замирает на одном месте и начинает кланяться во все стороны, ну как майор Гренелл после нескольких коктейлей. И уже останавливаясь, он ложится, дергается, ударяется об пол. И после этого уже не шелохнется.

Когда она была счастлива, когда общалась с девочками, тогда она была похожа на раскрученный волчок. Когда мать вернулась домой, волчок внутри нее более не ходил, но остановился и начал колебаться. Когда мать выгнала ее из постели, он уже дергался и дрожал. А когда она укрылась в своем уголке, он уже постукивал краями по полу. Более он не крутился и крутиться не собирался.

Потом она решила попробовать, надолго ли сумеет задержать дыхание. Не так, чтобы набрать полную грудь воздуха и терпеть, но вдыхать все тише и тише, забыть *вдохнуть*… все тише и тише… забыть и про *выдох*. И теперь уже скорее не дышать, нежели дышать.

Ветер шелохнул ее юбку. Джейни смутно ощу-

тила движение… далекое и незаметное, словно бы тоненькая подушка отгораживала ее ноги от этого движения.

Волчок внутри нее уже катался по полу ребром, все медленнее, медленнее и наконец остановился.

…и медленно повернулся в обратную сторону… небыстро, недалеко… и остановился.

Но она покатилась сама, перекатилась на живот, потом на спину, и боль стиснула ноздри, забурлила в желудке содовой водой. Она задыхалась от боли, и спазмы эти были дыханием, а Джейни все дышала и наконец вспомнила себя. Она повернулась еще раз, и по лицу ее забегали какие-то крохотные зверьки. Они были реальны, она их ощущала. Зверьки пришептывали и ворковали. Джейни попыталась сесть, зверюшки забежали за спину, чтобы помочь. Голова ее упала на грудь, и она ощутила кожей теплоту собственного дыхания. Один из зверьков погладил ее по щеке. Протянув ладошку, она поймала его.

— Хо-хо, — проговорил зверек.

Нечто мягкое, крепкое и маленькое копошилось под другим ее боком, прижималось к телу. Гладкое и живое. И приговаривало: «хи-хи».

Обняв одной рукой Бони, а другой Бини, она

зарыдала.

Дин вернулся, чтобы взять взаймы топор. Голыми руками ничего не сделаешь. Выбравшись из чащи, он заметил, как переменилась ферма. Прежде здесь каждый день был сумеречным, а тут ее словно вдруг озарило солнце. Цвета стали ярче, а запахи — дыма, травы и амбара — сильнее и чище. Кукуруза устремилась навстречу солнцу, да так, что страшно становилось за ее корни.

Достопочтенный пикап Продда пыхтел и подвывал у подножия склона. Следуя меже, Дин спустился вниз и наконец увидел автомобиль. Машина гудела на оставленном под паром поле, которое Продд явно решил вспахать. К грузовичку был прицеплен навесной плуг с несколькими лемехами, кроме одного. Правое заднее колесо соскользнуло в борозду, так что грузовичок сидел на задней оси. Продд подпихивал под колесо камни, орудуя рукоятью мотыги. Заметив Дина, он отбросил ее и рванулся навстречу, засияв, словно медный таз. Взяв Дина за плечи, Продд долгим взором оглядел его лицо, читая его, как книгу, — не торопясь, по строчке, шевеля губами.

— Боже, а я уже и не думал увидеть тебя, ты ушел так неожиданно.

— Тебе нужна помощь, — проговорил Дин, имея

в виду грузовик.

Продд не понял.

— Ну не знаю, — радостно отвечал он. — Ты вернулся, чтобы посмотреть, не нужна ли мне помощь? Ох, Дин, поверь, я прекрасно справлюсь и сам. Ты не думай, я ценю тебя. Просто последнее время у меня такое настроение. Столько дел, я хочу сказать.

Дин подошел к мотыге, поднял ее и сказал:

— Садись за руль.

— Обожди, чтобы Ма увидела, — проговорил Продд, — все как в прежние времена. — Усевшись за руль, он нажал на педаль. Упершись спиной в кузов грузовичка, Дин взялся снизу за край его обеими руками и потянул. Кузов поднялся, насколько пускали рессоры, а потом и выше. Дин откинулся назад. Колесо обрело опору, и грузовик дернулся вверх и вперед — на твердую землю.

Выбравшись из кабины, Продд вернулся, чтобы заглянуть в рытвину, совершая ненужный и бессмысленный поступок, свойственный человеку, собирающему вместе куски разбитой фарфоровой чашки.

— Раньше-то я думал, что ты прежде был фермером, — ухмыльнулся он. — Но теперь дудки, не проведешь, домкратом ты был, вот что!

Дин не улыбнулся в ответ. Он никогда не улыбался. Продд направился к плугу. Дин помог ему навесить петлю на крюк грузовика.

— Лошадь пала, — пояснил Продд. — Грузовик-то ничего, только иногда по полдня откапываю колеса. Надо бы завести другую лошадь. Да вот решил подождать, пока Джек явится к нам. Сам понимаешь, какая для меня потеря… лошадь-то. — Поглядев в сторону дома, он улыбнулся. — Но теперь меня ничто не волнует. Завтракал?

— Да.

— Значит, добавишь. Сам знаешь, Ма ни тебе, ни мне не простит, если уйдешь голодным.

Они вернулись в дом, и, завидев Дина, Ма крепко обняла его. В его груди что-то неуютно шевельнулось. Ему нужен был только топор. Он думал, что все эти взаимоотношения уже улажены.

— Садись же, и я сейчас принесу вам поесть.

— Ну говорил я тебе, — сказал Продд, посмотрев на жену с улыбкой. Она заметно отяжелела, но была счастлива, как котенок в коровнике.

— Чем сейчас занимаешься, Дин?

Дин посмотрел Продду в глаза и отыскал в них нечто вроде ответа.

— Работаю, — отвечал он и указал рукой: —

Там, повыше.

— В лесу?

— Да.

— И что же ты делаешь? — Дин выжидал, и Продд спросил: — Ты нанялся к кому-то еще? Нет? Так, значит, охотишься?

— Охочусь, — ответил Дин, зная, что одного слова будет достаточно.

Дин ел. И со своего места видел комнату Джека, прежняя кровать исчезла. На ее месте появилась новая, коротенькая, чуть длиннее его руки, укрытая голубым шерстяным одеялом и кисеей со множеством мелких складок.

Когда он закончил есть, все трое посидели еще за столом, не говоря ни слова. Дин заглянул в глаза Продда и прочел в них: *он хороший парень, но не из тех, кого хочется иметь соседом и ходить к нему с визитом.* Он не вполне понял образ *визита*: нечеткое и расплывчатое пятно звуков, разговора и смеха. Признав в этом понятии очередной случай недоступного для себя — именно недоступного, хотя и вполне постижимого, того, что он не может делать сейчас и не сможет никогда, — Дин ушел, попросив у Продда топор.

— Как ты думаешь, он не в обиде на нас? — беспокойно глянула в спину Дина миссис Продд.

— Он-то? — переспросил Продд. — Он не вернется сюда, даже если его упрашивать. Я, по совести, все время этого опасался. — Он подошел к двери. — Слышь-ка, не берись за тяжести.

Джейни читала — медленно и разборчиво, чтобы близнецы поняли. Ей не нужно было читать громко, только разборчиво. Она дошла до того места, где женщина привязала мужчину к столбу и выпустила другого мужчину, «моего соперника, ее счастливого любовника», из шкафа и дала ему в руки кнут. Оторвавшись в этом месте от текста, она заметила, что Бони нет, а Бини сидит в холодном камине, изображая мышку, спрятавшуюся в золе.

— Ага, ты не слушаешь, — проговорила она.

Хочу ту, которая с картинками, пришел безмолвный ответ.

— Эта мне уже надоела, — задиристым тоном ответила Джейни, однако все же отложила *Венеру в Мехах* фон Захер-Мазоха.

— В этой хотя бы есть какой-то сюжет, — пожаловалась она, подходя к полкам. Отыскав нужный томик между детективом *Мой револьвер быстр* и *Айвеном Блохом*[2] *с иллюстрациями,*

---

[2] Сноски: 2

Айвен Блох (1872–1922) — немецкий врач, дерматолог, венеролог и сексолог.

она вернулась с ним в кресло. Бонни исчезла из камина и появилась рядом с креслом. Бини стояла по другую сторону. Где бы она только что ни обреталась, но явно была в курсе происходящего. И уж во всяком случае, она любила эту книгу больше, чем Бони.

Джейни распахнула книжку наугад. Близнецы, выкатив глазенки, наклонились вперед.

Читай!

— Ну ладно, — сказала Джейни. — …D_{34556}. Раздвижная портьера. С двойными сборками. Длина 90 дюймов. Цвета: бледно-желтый, красный, темно-зеленый с желтоватым отливом и белый. Цена 24,68 доллара. D_{34557}. Деревенский стиль. Плед Стюартов или Аргайлов, см илл. 4,92 доллара за пару. D_{34}…

И они снова были счастливы.

Счастливы они были с того времени, как попали сюда, и в предшествовавшее этому лихорадочное время. Они научились открывать заднюю дверь трейлера, зарываться в сено и неподвижно лежать под ним. Джейни умела снимать прищепки с веревки, а близнецы научились возникать в комнате, к примеру, в магазине ночью, и отпирать изнутри такую дверь, которая была заперта на замок, непосильный для Джейни, умевшей

справляться только с крючками и засовами. Впрочем, лучше всего у них получалось отвлекать внимание тех, кто начинал преследовать Джейни. Таковые быстро убеждались в том, что присутствие двух мелких девиц, швырявших в них камни с высоты второго этажа либо вдруг цепляющихся за ноги, а то еще оказывающихся у них на плечах и увлажняющих им рубашки и воротники, не позволяет им поймать Джейни, удалявшуюся на двух ногах. *Хо-хо*.

Дом стал для них самым радостным открытием среди всех прочих. Стоял он в несчетных милях от соседей, никто и никогда к нему не подходил. Этот большой дом возвышался на холме посреди дремучего леса, и почти никто не знал о его существовании. От дороги его ограждала высокая стена, а от леса — высокий забор, под которым протекал ручей. Бони открыла этот дом случайно, когда все устали и решили поспать у дороги. Она проснулась первой, отправилась на разведку и увидела забор, он-то и привел ее к дому. Им пришлось затратить уйму времени, чтобы найти лазейку для Джейни, пока Бини не свалилась в ручеек там, где он подтекал под забор, и не вынырнула из него с другой стороны.

В самой большой комнате была тьма-тьмущая

книг, нашлась и уйма старых одеял, в которые можно было закутаться, когда становилось холодно. В темном холодном погребе обнаружилось с полдюжины коробок овощных консервов и несколько бутылок вина, которые они потом разбили, так как вино показалось им скверным на вкус, однако пахло просто восхитительно. Возле дома серебрился пруд, купаться в нем было куда интересней, чем в ванных, почему-то лишенных окон. Было где играть в прятки. Нашлась даже комнатка с зарешеченными окнами и цепями, прикованными к стене.

С топором дело шло много проще.

Он никогда не отыскал бы это место, если бы не поранился. За все проведенные в скитаниях по лесу годы, часто вслепую и наугад, Дин ни разу не попадал в подобную ловушку. Он только что переступил какую-то вершинку и сразу же полетел вниз на двадцать футов — на покрытое хворостом и засыпанное гнильем дно. При падении он повредил один глаз, и левая рука его нестерпимо болела возле локтя. Выбравшись на свободу, он обозрел местность. Возможно, когда-то кто-то устроил здесь пруд — с невысокой и непрочной нижней стенкой. Теперь вода ушла, оставив углубление в склоне холма, густо заросшее внут-

ри кустарником, еще плотнее закрывавшим вход с обеих сторон. Камень, с которого он слетел, выступал из склона и нависал над выемкой.

Прежде Дина нисколько не волновало — есть возле него люди или нет. Теперь он хотел только одного: быть таким, каким требовала его внутренняя суть — то есть одиночкой. Но за восемь лет, проведенных на ферме, Дин успел отвыкнуть от жизни лесного зверя. Ему необходимо было укрытие. И чем дольше он смотрел на это укромное место с каменным потолком и двумя земляными стенами, тем больше оно казалось ему похожим на искомое укрытие.

Сначала он ограничился несложными мерами: вырубил и выкорчевал кусты, чтобы можно было удобно улечься, и подвязал пару колючих кустов при входе, чтобы тернии не задевали его при входе и выходе. Потом начались дожди, ему пришлось выкопать сточную канавку, чтобы в убежище не застаивалась вода, и соорудить над головой что-то похожее на крышу.

Но время шло, и он все более увлекался благоустройством своего жилья. Натаскал веток, засыпал их землей и хорошо утоптал — получился ровный пол. Вытащив из задней стенки шаткие камни, он увидел, что оставшиеся после

них выемки могут послужить в качестве полок, на которых можно было разместить все его скудные пожитки.

Ночами он наведывался на фермы, широким кольцом окружавшие гору. Много за один раз он не уносил и никогда не возвращался туда, где уже побывал. Он раздобыл морковь, картошку, десятипенсовые гвозди и медную проволоку, сломанный молоток и чугунок. Однажды Дин подобрал кусок свинины, свалившийся с повозки, и припрятал его. А вернувшись после следующей вылазки, обнаружил, что в гостях у него побывала рысь. Этот случай навел его на мысли о стенах, потому-то он и вернулся за топором.

Он валил деревья — такие, какие мог доволочь до своего жилья, предварительно обрубив ветки. Первые три он вкопал так, чтобы они ограничивали собой пол, четвертая стена его дома находилась под камнем. Потом отыскал красную глину, которая, если замесить с торфяным мхом, образовывала замазку, не пропускавшую мышей и насекомых и не смывавшуюся. Наконец поставил стены и сделал дверь. Сооружением окна Дин не стал себя утруждать, просто оставил по узкой полосе между столбами, служившими ему стенами, и вытесал клинья, которыми можно

было их затыкать.

Свой первый очаг он устроил в индейском стиле: посередине своего жилья под отверстием в крыше, чтобы выходил дым. Рядом вбил крючья в камень — чтобы подвешивать мясо, если ему повезет на охоте.

Он как раз подыскивал недостающие камни для очага, когда нечто невидимое коснулось его. Он дернулся, словно от ожога, и спрятался за деревом, как затравленный лось.

Прошло уже много времени с той поры, когда он в последний раз ощущал свою внутреннюю, ненужную теперь ему чуткость к общению с младенцами. Он терял ее, терял с той поры, когда научился говорить.

Но теперь кто-то звал его, звал, словно младенец, хотя не был младенцем. Дальний клич был едва различим, но невыразимо знаком… Сладостный зов тем не менее нес в себе память об обжигающем кнуте, сокрушительных пинках, непристойных ругательствах и горчайшей в его жизни утрате.

Ничего поблизости не обнаружив, он медленно выбрался из-за дерева и возвратился к камню, который перед этим раскачивал. Еще с полчаса он отрешенно трудился, не позволяя себе прислу-

шаться к зову. Но что-то настойчиво влекло его.

Он поднялся, словно сомнамбула, и пошел на зов. Чем дальше он уходил, тем решительнее становился призыв и тем более властной становилась его сила. Так Дин шел целый час, шел прямо, не сворачивая, не огибая препятствий, переступая через валуны и поваленные деревья, продираясь сквозь чащу. Выйдя на отравленную прогалину, Дин почти что впал в транс. Позволить себе вернуться в сознание значило пробудить такую адскую драму, на которую у него не было сил. Не глядя под ноги и спотыкаясь, он буквально уперся лбом в ржавый забор, задев при этом пораненный глаз. Он припал к забору головой, пока зрение его не прояснилось, огляделся по сторонам и задрожал всем телом.

На миг им овладела твердая решимость — немедленно покинуть это страшное место. Но тут он услышал голос ручья…

Там, где вода уходила под забор, он нагнулся, отыскивая ту самую брешь. Ничто не изменилось.

Дин попытался заглянуть в щель, но мощные заросли остролиста сделались еще гуще. До него не доносилось ни звука… Только призрачный зов… Он был испуганным, встревоженным, мо-

лил о помощи.

Подобно тому, который он слышал прежде, в зове этом мешались голод, одиночество и нужда. Отличие заключалось в том, чего хотел этот зов. Он без всяких слов говорил, что слегка испуган, озабочен и полон ответственности. По сути дела, он твердил: *кто же теперь будет заботиться обо мне?*

Может быть, холодная вода помогла. Разум Дина вдруг сделался ясным, как никогда прежде. Глубоко вдохнув, он нырнул и оказался по ту сторону забора. Выставил голову, старательно прислушался, снова погрузился в воду до носа. И бесшумно пополз на локтях, пока голова его не оказалась в арке, и он наконец увидел…

На берегу сидела маленькая девочка лет шести в порванном платье из шотландки. Заостренное, недетское лицо осунулось от забот. Осторожность его оказалась напрасной: девочка глядела прямо на него.

— Бони! — резко выкрикнула она.

Ничего не произошло.

Он остановился, а она следила за ним, все еще с беспокойством. Он понял природу этого зова: тревога. И все же девочка не сочла его появление достаточно важной причиной, чтобы отвлечься

от своих мыслей.

Впервые в жизни он ощутил прилив гнева и разочарования. Впрочем, ощущение сменилось волной облегчения, как будто он сбросил с плеч сорокафунтовый рюкзак, проносив его сорок лет. Он не знал, не догадывался о тяжести, лежавшей на собственных его плечах.

И ушло прочь это воспоминание. Назад в прошлое отправились хлыст, вопли, чары и так и не забытая потеря… назад, туда, где было им самое место, вместе со всеми разорванными нервными волокнами, так чтобы они никогда не смогли заново протянуться в его настоящее. В зове этом не было водоворота крови и эмоций — пустые причитания голодного ребенка. Подобно огромному плоскому раку, Дин попятился назад под забор. Выбравшись из ручья, он повернулся спиной к зову и вернулся к своей работе.

Он возвращался в свое убежище, обливаясь потом под тяжестью восемнадцатидюймовой каменной плиты на плече, и от усталости забыл о привычной осторожности. Проломившись сквозь кусты на крохотную прогалину перед своей дверью, он остолбенел.

Прямо перед ним сидела на корточках голенькая малышка лет четырех.

Она подняла глаза, и в глазах ее — что там — по всему темному лицу запрыгали веселые искорки.

— Хи-хи! — радостно зазвенела она.

Он нагнул плечо и дал камню съехать на землю.

Девочка совсем ничего не боялась. Она опустила глаза и вернулась к своему занятию: по-заячьи захрустела морковкой.

Мелькнувшая тень привлекла его внимание. Из щели между бревнами выползла еще одна морковка, за ней последовала третья.

— Хо-хо. — Он глянул вниз, перед ним сидели уже *две* маленькие девочки.

По сравнению с прочими людьми в данной ситуации Дин имел весьма важное преимущество: сомнения в здравии собственного рассудка не могли прийти ему в голову. Нагнувшись, он поднял одну из малышек, но не успел распрямиться, как девочка исчезла прямо из его рук.

Другая оставалась на месте. Обворожительно улыбнувшись, она запустила зубы в новую морковку.

Дин спросил ее:

— Что делаешь?

Голос его был неверен и груб, как у глухонемого.

Это испугало ребенка. Девочка перестала есть и с открытым ртом уставилась на него. Открытый рот ее был полон жеваной морковки, отчего малышка сделалась похожей на пузатую печурку с открытой дверцей.

Дин опустился на колени, не зная, почему он настолько осторожен. Девочка глядела ему прямо в глаза, в те самые глаза, что некогда приказали человеку убить себя, те самые, что много раз безмолвно заставляли встречных кормить его. Он не чувствовал ни гнева, ни страха, им владело только одно желание — чтобы она посидела на месте.

Наконец он потянулся к ней. Девочка шумно вздохнула, обдав его лицо брызгами слюны и частичками морковки, и тут же исчезла.

Дин был переполнен удивлением — чувством, совершенно чужим ему, так как его вообще редко интересовало что-либо, а тем более в такой степени, чтобы удивить. Но еще более странным было то, что удивление это оказалось почтительным. Поднявшись, он припал спиной к бревенчатой стене и поискал их взглядом. Теперь девочки стояли рядом, держались за руки и смотрели на него, словно оцепенев, как бы ожидая, что он сделает что-нибудь еще.

Однажды, годы назад, он догнал оленя. Однажды, потянувшись, он словил птицу на верхушке дерева. Однажды поймал форель в реке.

Однажды.

Дин просто был устроен так, что не мог гоняться за тем, что по своему опыту поймать не мог. Нагнувшись, он поднял на плечо свою каменную плиту, уперся в задвижку, на которую закрывал дверь, плечом отодвинул ее и вошел внутрь.

Опустив плиту возле огня, он замел на нее рдеющие угольки, положил на них дрова, раздул огонь, положил на зеленую перекладину и подвесил к ней жестяной котелок. И все это время из дверного проема за ним наблюдали две пары глаз на черных мордашках. Дин не обращал на них внимания.

Освежеванный кролик висел на крюке возле дымохода. Дин снял его, оборвал четыре ноги, переломил хребет и бросил все в котелок. Достал из ниши в стене несколько картофелин и крупных зерен каменной соли, которая немедленно отправилась в котелок вместе с картофелинами, разрезанными им пополам о лезвие топора. Потом протянул руку за морковью. Однако ее не оказалось на месте.

Дин повернулся и, хмурясь, посмотрел в сто-

рону двери, Две головенки немедленно исчезли из вида. Из-за двери послышалось тоненькое хихиканье.

Дин оставил котелок на огне на час, а сам в это время старательно точил топор и вязал метлу, как у миссис Продд. Тем временем буквально по доле дюйма обе его гостьи продвигались к очагу. Взгляды их были прикованы к котелку, а по подбородкам уже текли слюнки.

Он занимался своими делами, не обращая внимания на них. Когда он приближался к ним, обе отступали, а когда пересекал свою хижину, входили снова, опять же продвигаясь по чуть-чуть, по доле дюйма. Вскоре оказалось, что отступают они совсем на немного, а вот приближаются полными шагами, и наконец Дин получил возможность захлопнуть дверь — что он и сделал.

Во внезапно наступившей темноте бульканье в котелке и легкое шипение пламени вдруг сделались очень громкими. Других звуков не было слышно. Привалившись спиной к двери, Дин крепко зажмурил глаза, чтобы они скорее привыкли к темноте. А когда он открыл их, оказалось что лучей, пробивавшихся сквозь вентиляционные щели, и отсветов очага вполне достаточно для того, чтобы видеть все, находящееся в по-

мещении.

Малышек в нем не было.

Заложив внутреннюю задвижку, он неторопливо обошел свой дом. Никого.

Потом он осторожно приоткрыл дверь, распахнул ее настежь. Снаружи тоже никого.

Он пожал плечами, закусил нижнюю губу и пожалел о том, что не взял побольше морковок. А потом отставил котелок в сторону стыть, так чтобы можно было приступить к еде, и стал заканчивать с процессом заточки топора.

Наконец он начал есть. И уже готов был облизать на десерт кончики своих пальцев, когда резкий стук в дверь заставил его буквально подскочить на месте, настолько неожиданным был здесь подобный звук.

В дверном проеме стояла девочка в платьице из шотландки. Волосы причесаны, лицо умыто. С изящной непринужденностью она держала в руках предмет, издали казавшийся дамской сумочкой, но, приглядевшись, в нем нетрудно было признать тиковый ящичек из-под сигарет, к которому четырехдюймовыми гвоздями вместо ручки была приколочена тесемка.

— Добрый вечер, — вежливо проговорила она, — я проходила мимо и решила заглянуть.

Значит, вы дома?

Юная, но вконец обнищавшая светская дама, пытающаяся прокормиться визитами, казалась чистой пародией, впрочем, абсолютно непонятной для Дина. И он продолжил облизывать пальцы, не отводя глаз от лица девочки. За ее спиной из-за краешка двери вдруг вынырнули головки обеих темнокожих девчушек.

Ноздри и глаза девочки были обращены к горшку с варевом. Она буквально пожирала его глазами. Потом вдруг зевнула и самым благовоспитанным тоном промолвила:

— Прошу прощения.

А затем откинула крышку ящика для сигарет, достала из него белую тряпочку, быстро сложила ее, но все же не настолько, чтобы нельзя было понять, что это мужской носок, и промокнула ею губы.

Встав с места, Дин поднял полено, осторожно уложил его в очаг и вновь сел. Девочка сделала шаг вперед. Две другие последовали за нею и парой оловянных солдатиков на карауле замерли возле двери. Их лица выражали ожидание. Теперь девочки были одеты. На одной были полотняные дамские штанишки, каких свет не видел с тех пор, когда у автомобилей не было баранки. Они

доходили ей до подмышек и удерживались в таком положении парой коротких полосок из того же самого мохнатого шнурка, продетыми на уровне груди в дырки и заменявшими собой помочи. На второй красовался тяжелый шерстяной фартук, во всяком случае, верхняя треть его, обрезанная на уровне лодыжек неровной и растрепанной бахромой.

В точной манере дамы, шествующей через комнату к коробке с конфетами, белая девочка приблизилась к котелку и, бросив Дину крохотную улыбку, спросила, потупив глаза и протянув к котелку большой и указательный пальцы:

— Можно мне попробовать?..

Выпрямив ногу, Дин подгреб котелок поближе к себе. Поставил сбоку, подальше от девочки, и устремил на нее остановившийся взгляд.

— Ты — вонючий сукин сын, — процитировала кого-то девчонка.

Дину эти слова тоже ничего не говорили. Прежде чем он научился обращать внимание на подобные слова, они не имели для него ни малейшего смысла. Ну а после ему не приходилось их слышать. Он пустыми глазами смотрел на девочку, не забывая придерживать котелок.

Глаза гостьи сузились, лицо покраснело. Она

вдруг заплакала.

— Ну пожалуйста, я голодна. *Мы* хотим есть. Мы съели все, что было в банках. — Голос ее упал, и она прошептала: — Пожалуйста, я прошу тебя, а?

Дин невозмутимо внимал этим словам. Наконец она робко шагнула к нему. Он поднял теплый котелок к себе на колени и обнял его.

Девочка проговорила:

— Ну и ладно, я и не хотела твоего тухлого… — На этом слове голос ее дрогнул. Она повернулась и направилась к двери. Две подруги внимательно глядели на нее. Лица их выражали безмолвное разочарование, и несчастные мордашки ранили Джейни куда больше, чем его безучастный взгляд. Она, добытчица, подвела их, и они не скрывали обиды.

Он сидел с теплым горшком на коленях, глядел через дверь в сгущающиеся сумерки. Перед внутренним взором его вдруг предстала миссис Продд с дымящейся сковородкой. Куски ветчины перемежались желтыми глазками яичницы; она приговаривала: «Садись-ка, садись, поужинай». Чувство, которому он не знал имени, перехватило горло, протянувшись откуда-то из солнечного сплетения.

Шмыгнув носом, он потянулся к чугунку, вы-

ловил из него половину картофелины и уже нацелил на нее рот. Но рука не слушалась. Медленно склонив голову, Дин поглядел на картофелину, словно бы не узнавая, что это такое и зачем существует.

Охнув, он выронил картофелину в чугунок, гулко поставил его на пол и вскочил на ноги.

Упершись руками в дверной косяк, он хриплым невыразительным голосом выдавил:

– *Погодите!*

Кукурузу давно уже следовало убрать, но она еще стояла в поле. То тут, то там желтели переломленные стебли, разведчики-муравьи оглядывали их и разбегались, разнося слухи. На другом поле застрял повалившийся набок грузовик, из прикрепленной позади него съехавшей набок сеялки сыпалась озимая пшеница. Не было видно дымка над трубой фермы, и лишь покосившаяся амбарная дверь гулко аплодировала, злорадно приветствуя несчастье.

Дин подошел к дому, поднялся на приступку. Продд сидел на качелях, которые не качались, потому что порвались цепи. Глаза его закрытыми не были, впрочем, они были скорее прикрыты, чем открыты.

— Привет, — проговорил Дин.

Продд шевельнулся, поглядел Дину в лицо, не обнаружив никаких признаков узнавания. Потом опустил взгляд, подвинулся назад, чтобы распрямиться, и принялся бесцельно ощупывать грудь, нашел подтяжки, потянул, отпустил. По лицу его пробежало полное тревоги выражение и скрылось. Он вновь посмотрел на Дина, ощущавшего, как сознание возвращается к фермеру — как кофе пропитывает кусок сахара.

— А, Дин, мальчик мой! — наконец вымолвил Продд. Слова знакомые, но голос похож на изломанные конные грабли. Просияв, фермер поднялся, подошел к Дину и занес уже кулак, чтобы дружелюбно грохнуть тому в плечо… и вдруг забыл о своем намерении. Кулак повисел-повисел и, повинуясь закону тяготения, опустился.

— Кукуруза готова, — проговорил Дин.

— Да-да, знаю, да, — не то вздохнул, не то ответил Продд. — Вот займусь ею. Справлюсь и сам. Так или сяк, а до первых заморозков всегда чего-нибудь да не успеваешь. А вот дойки ни одной не пропустил, — горделиво добавил он.

Глянув в дверной проем, Дин впервые увидел в кухне грязные тарелки и стаи мух.

— Младенец пришел, — проговорил он, припомнив.

— Да. Такой парень, ну прямо как… — и фермер снова словно позабыл, что намеревался сказать. Слова застыли и повисли, как тот кулак.

— Ма! — вдруг вскрикнул он. — Собери-ка мальчику перекусить, быстренько! — Потом смущенно обернулся к Дину. — Там она, — сказал он, указывая пальцем. — Если кричать громче, глядишь, и услышит.

Дин посмотрел туда, куда указывал Продд, но ничего не увидел. Поймал взгляд фермера и погрузился в него, изучая. Отпрянул невольно и потом лишь понял, что таилось в этих глубинах.

— Принес твой топор.

— О, хорошо, хорошо. А впрочем, можешь подержать еще.

— У меня уже есть. Убрать кукурузу?

Продд затуманенным взором взглянул в сторону поля.

— Дойки не пропустил, — рассеянно пробормотал он.

Оставив его, Дин отправился в амбар за крюком для початков. Нашел. А еще увидел, что корова сдохла. Отправившись на поле, он принялся собирать урожай. Спустя некоторое время на другом конце поля появился Продд и изо всех сил навалился на работу.

Было уже за полдень, когда они сняли все початки. Продд отлучился в дом и минут через двадцать показался с кувшином и целой тарелкой бутербродов. Хлеб был черствый, а тушеная говядина явно была из запаса «про черный день» миссис Продд. На теплом лимонаде покачивались дохлые мухи. Дин вопросов не задавал. Присев на край конской поилки, они поели.

Потом Дин отправился к полю, оставленному под пар, и извлек увязший грузовик. Продд поспел вовремя, чтобы усесться за руль. Остаток дня ушел на посев, Дин засыпал семена в сеялку и еще четыре раза помогал вытаскивать засевший грузовик, старательно попадавший во все новые ловушки. Покончив с этим, Дин жестом отправил Продда к амбару, где тот нацепил на рога коровы веревку, потом грузовиком дотащил тушу до опушки. Поставив наконец на ночь машину в сарай, Продд проговорил:

— Эх, жаль, кобылы нет.

— А говорил, что не жалеешь о ней, — бестактно напомнил Дин.

— Знать бы заранее. — Продд повернул к дому и улыбнулся, припоминая. — Да, меня тогда ничего не беспокоило, ничего, понимаешь. — Все еще улыбаясь, он обернулся к Дину и продолжил: —

Пойдем-ка в дом. — И весь обратный путь улыбка не исчезала с его лица.

Вошли они через кухню, заваленную старой утварью. В ней все было еще хуже, чем ему показалось снаружи. Часы стояли. Продд, улыбаясь, открыл дверь в Джекову комнату. С той же улыбкой он проговорил:

— А теперь, парень, пойдем. Глянь-ка на него.

Дин подошел и заглянул в плетеную колыбель. Кисея была порвана, от влажной голубой шерсти распространялось зловоние. Глаза — как обойные гвоздики, кожа горчичного цвета, короткая иссиня-черная щетина на голове. Ребенок с шумом дышал.

Выражение лица Дина не переменилось. Он отвернулся и вышел в кухню, глядя на одну из канифасовых занавесок — ту, которая лежала на полу.

Продд с улыбкой вышел из комнаты Джека и прикрыл за собой дверь.

— Ну сам видел, что это не Джек, а благословенье наше. Вот Ма и ушла разыскивать настоящего Джека, должно быть, так. Другого-то ей не надо. — Он улыбнулся дважды: — А тот, что в кроватке — это монголоид, так нам доктор объяснил. Пусть живет, вот вырастет раза в три и

доживет до тридцати лет. А если отвезти в город, на лечение к специалисту, вырастет в десять раз. — Он улыбался. — Так говорил доктор. Не закапывать же его в землю, так ведь? Ма — дело другое, она так любила цветы…

Слишком много слов, слишком трудно пробиться сквозь широкую, напряженную улыбку. Дин погрузил свой взгляд в глаза Продда.

Там он увидел все, что нужно было фермеру, хотя тот даже не догадывался об этом. И сделал необходимое.

Потом они вместе с Проддом убрались в кухне, забрали и сожгли колыбельку и заботливо подшитые пеленки, сработанные из старых простыней, новую овальную эмалированную ванночку, а с ней и целлулоидную погремушку, голубые фетровые ботиночки с белыми помпонами в прозрачной целлофановой коробке.

Продд приветливо помахал ему на прощание с крыльца.

— Подожди-ка, вернется Ма, так набьем тебе брюхо блинами, что лопнешь…

— Запомни: починить дверь амбара, — проскрежетал Дин. — Я вернусь.

И затопал со своей ношей по склону в лес. Его одолевали немые думы, не укладывавшиеся в

слова и картинки. О детях. О Проддах. Одно дело Продды, они приютили его не без причины, теперь он знал, почему они так сделали. Но тогда он был один, теперь у него завелись эти девочки. Ему было незачем возвращаться сегодня к Проддам. Однако сегодняшние мысли твердили, что он *должен* был это сделать. Он еще вернется туда.

Один. Один Дин, один. И Продд теперь стал один, и Джейни одна, и близнецы… Хорошо, пусть их двое, но они — просто две половинки одного существа. А он, Дин, так и остался в одиночестве, пусть девочки и рядом.

Может быть, Продду не было одиноко с женой. Как знать… Но ему, Дину, в целом мире не сыскать своего подобия, разве что внутри себя самого. Весь мир отверг его, разве это не так? Даже Продды, когда дело дошло до ребенка. И Джейни отвержена, и близнецы — так она сама говорила.

Забавно, думал Дин, как чужая судьба помогает примириться с собственным одиночеством.

Ночная тьма уже запестрела солнечными зайчиками, когда он добрался домой. Коленом отворил дверь и вошел внутрь. Джейни разрисовывала старую фарфоровую тарелку, разводя грязь слюнями. Близнецы сидели в нишах под потолком и перешептывались.

— Что это? Что ты принес? — Джейни сорвалась с места.

Дин аккуратно уложил свою ношу на пол. Возле нее по бокам мгновенно выросли близнецы.

— Младенец, — проговорила Джейни и повернулась к Дину. — Такого уродливого я еще не видала.

Дин ответил:

— Ничего. Дай ему поесть.

— А что он ест?

— Не знаю, — отвечал Дин. — Тебе лучше знать.

— А где ты его взял?

— Там, на ферме.

— Значит, ты теперь похититель младенцев, — проговорила Джейни. — Знаешь, что это такое?

— Что же?

— Человек, который крадет детей. И когда это узнают, придет полисмен и застрелит тебя, а потом посадит на электрический стул.

— Нет, — с облегчением ответил Дин. — Об этом знает только один человек, но я устроил так, чтобы он все позабыл. А Ма умерла, только он об этом не знает. Он будет думать, что она уехала на восток, и ожидать ее. Так или иначе, накормить его надо.

Он стянул куртку. С детьми в утлой комнатушке было слишком жарко. Младенец тяжело пыхтел, открыв тусклые глазенки. Подойдя к очагу, Джейни задумчиво поглядела на котелок. Наконец полезла в него ложкой и принялась наполнять жестянку из-под консервов.

— Нужно молоко, — не отрываясь от дела, объявила она. — Тебе, Дин, придется теперь таскать для него молоко. Ребенок — не кошка, ему много молока нужно.

— Хорошо, — отозвался Дин.

Близнецы, сверкая белками глаз, следили за тем, как Джейни вливала бульон в вяло открывавшийся рот ребенка.

— Внутрь тоже попадает, — отметила она.

— Разве что через уши, — отозвался Дин, руководствуясь одним только внешним впечатлением и вовсе не собираясь шутить.

Потянув за рубашонку, Джейни посадила младенца, теперь ушам и шее доставалось меньше, однако едва ли хоть что-нибудь попадало в рот.

— Ну-ка, попробую! — вдруг проговорила Джейни, словно отвечая кому-то незримому. Близнецы захихикали и запрыгали вверх и вниз. Отставив банку на несколько дюймов от лица малыша, Джейни сощурилась. Тот немедленно поперхнул-

ся, пуская изо рта бульон.

— Еще не совсем так, как надо, но я справлюсь, — сказала Джейни.

Она старалась еще с полчаса, наконец ребенок уснул.

Однажды вечером Дин поглядел на них, а потом легонько ткнул Джейни ногой.

— Что это там делается?

Она поглядела вверх.

— Он с ними говорит.

Дин задумался.

— Когда-то и я умел это делать. Слышать детей.

— Значит, ты был тогда идиотом, — уверенным тоном произнесла Джейни. — Идиоты не понимают взрослых, но понимают младенцев. Мистер Уиддикомб, ну тот, с кем жили близнецы, у него однажды была подружка-идиотка… Бони рассказала мне.

— Младенец тоже что-то вроде идиота, — проговорил Дин.

— Да, вот Бини, она говорит, что он не такой, как мы. Он у нас вроде как сложительная машина.

— А что такое сложительная машина?

Несколько преувеличив то терпение, с которым отвечала на ее вопросы воспитательница детского сада, Джейни ответила:

— Это такая машина с кнопками, на которые ты нажимаешь, а она дает тебе нужный ответ.

Дин покачал головой.

Джейни перешла к подробностям:

— Вот если у тебя есть три и четыре цента, а потом еще пять, семь и восемь центов… Сколько это будет всего?

Дин недоуменно пожал плечами.

— А когда у тебя есть сложительная машина, ты нажимаешь кнопку «два», потом «три», потом все остальные кнопки, крутишь рукоятку — и машина говорит, что получилось. И никогда не ошибается.

Медленно перебрав все слова, Дин кивнул. Потом махнул в сторону оранжевой корзины, служившей теперь колыбелью Малышу, и завороженно висевших возле него близнят.

— Где у него кнопки?

— Вместо кнопок — слова, — терпеливо объясняла Джейни. — Ты что-нибудь говоришь Малышу, потом еще что-то говоришь, а он складывает и отвечает, что получилось. Ну как сложительная машина — к одному прибавляет два и…

— Хорошо, но что ему нужно говорить?

— Что угодно, — она поглядела на Дина. — Ты у нас просто дурашка. Мне приходится по четыре

раза объяснять тебе всякий пустяк. Слушай: если тебе нужно будет что-то узнать, ты скажешь мне, я — Малышу, а он получит ответ и сообщит близнецам, они снова мне, и я, наконец, тебе… Что бы ты хотел сейчас узнать?

Дин глядел в огонь.

— Не знаю ничего такого, что мне хотелось бы знать.

— Ну хорошо, придумай какую-нибудь ерунду.

Без малейшей обиды Дин принялся размышлять. Джейни же занялась корочкой на ссадине под коленкой, методично общипывая ее со всех сторон ногтями, цветом и формой напоминавшими типографские скобки.

— Предположим, у меня есть грузовик, — через полчаса вымолвил Дин, — он все время застревает в поле, земля там вся в рытвинах. Я хочу сделать так, чтоб он больше не застревал. Малыш может мне сказать, как это сделать?

— Я же говорила тебе, он может все, — резко бросила Джейни и повернулась к Малышу. Тот, как всегда, тупо глядел вверх. Потом глянула на близнецов. — Он не знает, что такое грузовик, когда ты собираешься что-то спросить у него, надо объяснить все подробности, чтобы он мог сложить их вместе.

— Но ты-то знаешь, что такое грузовик и какая земля мягкая, а какая нет. И что такое увязать. Вот и объясни ему.

— Ну ладно, — согласилась Джейни.

Она проделала всю процедуру с самого начала, сделала запрос Малышу, получила ответ от близнецов. И расхохоталась.

— Он говорит, что не надо ездить по полю, не будешь и застревать. Мог бы и сам сообразить это, тупица.

Дин ответил:

— Ладно… а что, если тебе *нужно* ездить по полю?

— Ты хочешь, чтобы я всю *ночь* задавала ему глупые вопросы?

— Так, значит, он не на каждый вопрос может дать ответ.

— На каждый! — Уточнив факты, Джейни с охотой приступила к делу.

На сей раз ответ гласил: поставьте на него большие и широкие колеса.

— А если у тебя нет времени, денег и инструментов для этого?

Теперь уже было сказано: сделай так, чтобы грузовик был очень тяжелым на твердой земле и очень легким на мягкой…

Джейни едва не объявила забастовку, когда Дин потребовал, чтобы ему объяснили, как это можно сделать, и пришла в некоторое нетерпение, когда Дин отверг предложение загружать и выгружать из него камни. Она считала, что это просто глупо и что Малыш сочетает все вложенные в него факты с теми, которые были вложены в него до того, и дает правильные, хотя и неточные ответы на позиционные суммы шин, весов, супа, птичьих гнезд, младенцев, мягкой земли, диаметра колес и соломы. Дин же убежденно придерживался своей главной линии, и в конечном итоге оказалось, что подобный способ существует, однако не может быть выражен через факты, находившиеся в распоряжении Джейни и Дина. Джейни говорила, что все это как-то связано с радиолампами, и, руководствуясь этой нитью, следующей же ночью Дин утащил из радиомастерской целую кипу книжек. Он, не сворачивая, не останавливаясь, требовал своего, пока наконец Джейни не оставила сопротивление, потому что у нее не хватало сил одновременно сопротивляться и продвигаться с исследованиями. День за днем девочка просматривала основы электроники и радиотехники. Тексты ничего ей не говорили, но Малыш явно усваивал их быстрее, чем она

успевала перелистывать страницы.

В конце концов нашлось удовлетворившее Дина устройство, которое он мог сделать самостоятельно. Оно было снабжено рукояткой: повернешь влево — грузовик становится легче, вправо — тяжелеет. Другое простое приспособление добавляло мощности передним колесам — *sine qua non*[3], по словам Малыша.

И в своей полухижине-полупещере, возле дымного очага посреди нее, под кусками мяса, неспешно коптившегося возле дымового отверстия, с помощь двух немых девчонок, еще не вышедших из младенческого возраста, монголоидного дитяти и еще одной острой на язык девчонки, даже не школьницы, презиравшей его, но никогда не подводившей, Дин сделал такое устройство. Сделал не потому, что оно было сколько-нибудь нужно ему самому, не потому, что хотел как-то разобраться в принципах его работы, которым суждено было оставаться за пределами его понимания… он совершил невозможное, чтобы выручить старика, который когда-то научил его чему-то такому, для чего у него не было имени, а теперь осиротел и свихнулся от горя, нуждался

---

[3] Сноски: 3
Необходимое условие (*лат.*).

в работе, но не мог позволить себе коня.

Взяв с собой это устройство, Дин провел в пути большую часть ночи и в серые предутренние часы установил его в грузовике. Идея приятного сюрприза выходила далеко за грань познаний Дина, но то, что получилось, в точности соответствовало этому определению. Он хотел, чтобы машина была готова к рабочему дню и чтобы старик не бродил вокруг да около, задавая вопросы, на которые у него все равно не было бы ответа.

Грузовик засел на сей раз уже посреди поля.

Добравшись до грузовика, Дин снял свою ношу с плеч и шеи и принялся пристраивать устройство согласно точным инструкциям, полученным от Малыша. Ничего сложного тут не было. Тонкая проволока, обмотанная снаружи вокруг муфты сцепления, заканчивалась маленькими щеточками, соприкасавшимися с внутренней поверхностью передних колес, образуя, таким образом, привод на переднюю ось. Далее в его руках оказалась небольшая коробочка, из которой выходили четыре серебристых провода… коробочка соединялась с рулевым колесом, каждый провод присоединялся к углу рамы.

Сев в кабину, он потянул на себя ручку. Рама со скрежетом приподнялась, словно на цыпочках.

Он двинул рукоятку вперед. Грузовик ухнул на переднюю ось и кожух дифференциала с глухим стуком, от которого у Дина закружилась голова. Он с восхищением поглядел на коробочку с переключателем и перевел его в нейтральное положение. Потом оглядел все прочие устройства, которыми был снабжен грузовик, провел рукой по приборной доске и вздохнул.

Это сколько же надо ума, чтобы водить грузовик!

Дин выбрался из кабины и отправился будить Продда. Того не оказалось дома. Ветерок раскачивал кухонную дверь, вокруг на приступке валялись осколки вылетевшего из нее стекла. Под умывальником строили гнездо осы. Пахло грязными половицами, плесенью, застарелым потом. Впрочем, обстановка почти не изменилась с тех пор, как он в последний раз был здесь. Единственным новым предметом — кроме осиного гнезда — оказался листок бумаги, пришпиленный к стене. На нем было что-то написано. Дин снял его, соблюдая все предосторожности, разгладил на кухонном столе и дважды перевернул. Потом сложил и убрал в карман. И снова вздохнул.

Эх, если бы хватило ума научиться читать!

Дин вышел из дома, не оглядываясь, и растворился в лесу. Он больше не возвращался сюда, оставив грузовик печься на жарком солнце, разрушаться, медленно ржаветь рядом с блестящими и прочными кабелями странного серебристого цвета. Впитывавшее неистощимую энергию медленного распада атомных ядер, устройство это решало задачу полетов без крыльев, открывало новую эру в развитии транспорта, в технологии материалов. Сделанный руками идиота, по идиотской задумке предназначенный заменять павшую лошадь, брошенный по-дурацки и глупо забытый, первый антигравитационный генератор Земли ржавел на заброшенном поле.

Вот тебе и идиот!

«Дорогой дин я ушел отсюда потому что не знаю почему я здесь так долго крутился. Ма вернулась Вильмспорт Пенсильвания и была ушедши уже давно, а я устал ждать ее. Я хотел продать грузовик чтобы выручить деньги, но он увяз так что я не могу повезти его в город. И теперь я ухожу куда-то далеко пока не найду Ма. А ферма мне надоела. Бери себе все что хочешь если что нужно. Ты был хорошим парнем хорошим другом прощай Бог благословит тебя.

Старый друг. Е. Продд».

В течение трех недель Джейни четырежды читала Дину это письмо, и с каждым новым прочтением что-то добавлялось в бродильные дрожжи, бурлившие в его душе. Большая часть процесса творилась в его душе безмолвно, какая-то часть его требовала посторонней помощи.

Он полагал, что один только Продд связывает их с внешним миром и что детишки, как и он, просто отбросы, извергнутые человечеством. Потеря Продда — а он с непоколебимой уверенностью знал, что никогда больше его не увидит, — значила потерю надежды на жизнь. По меньшей мере

это была потеря всего осознанного, целенаправленного, того, что приподнимало их жизнь над существованием растений.

— Спроси Малыша, кто такой «друг».

— Он говорит: тот, кто любит тебя, даже когда ты плохо поступаешь.

Но Продд и жена его изгнали Дина, когда он стал мешать им, а значит, готовы были на это и в первый, и во второй, и на пятый год их знакомства… в любой момент. Нельзя сказать, что становишься частью чего-то, если это самое всегда готово отделаться от тебя. Но друзья… может быть, на какое-то время он им разонравился, а вообще-то они любили его?

— Спроси Малыша: можно ли стать частью того, что любишь?

— Он говорит: только если любишь и себя, и другого.

Годами Дин жаждал вновь пережить то, что случилось там, на берегу пруда. Он должен был понять, что там произошло. И если он сумеет постичь свершившееся, перед ним откроется мир. На секунду та, иная жизнь и он соединились потоком, который нельзя было ни преградить, ни остановить. Они обошлись без слов, которые ничего не значат, без мыслей, что не имеют зна-

чения. Это было слияние.

Кем он тогда был? Как говорила Джейни?

Идиотом. Просто фантастическим идиотом.

Идиот, пояснила она, — это взрослый, который способен слышать безмолвные речи детей. Тогда… с кем же он сливался тогда, в тот давний и страшный день?

— Спроси Малыша, как назвать взрослого, что умеет говорить как младенец.

— Он говорит — невинным.

Он был идиотом и понимал без слов, а она, невинная, умела говорить на детском языке.

— Спроси Малыша, что случается, если идиот и невинная окажутся рядом.

— Он говорит: как только они соприкоснутся, невинная потеряет невинность, а идиот перестанет быть идиотом.

Дин задумался. Потом он спросил у себя: «Что же так прекрасно в невинности?» Ответ был скор, почти как у Малыша: «Ожидание — вот что прекрасно в ней».

Ожидание конца невинности. Идиот тоже все время ждет. Ждет, что перестанет быть идиотом. Но как же мучительно его ожидание. И встреча означает конец для каждого из них… неужели это расплата за слияние?

Впервые за долгое время Дин ощутил покой. Ибо если это действительно так, значит, он на самом деле что-то сделал, а не разрушил. Боль, боль потери улеглась, получив свое оправдание. Пришло понимание, что, когда он потерял Продов, боль того не стоила.

«Что я делаю? Что делаю? — в тревоге метались мысли. — Все пытаюсь понять, кто я и частью чего являюсь… Не оттого ли, что я отвержен, несуразен, да что там, просто уродлив?»

— Спроси Малыша, как назвать человека, который все время пытается понять, кто он и откуда.

— Он говорит: такое о себе может сказать всякий.

— Всякий, — прошептал Дин, — а значит, и я?

Минуту спустя он возопил:

— Какой еще всякий?

— Заткнись на пару минут. Он не может сказать… э… ага, он говорит, что он, Малыш, — это мозг, я — тело, близнецы — руки и ноги, а ты — воля и голова. Он говорит, что «Я» относится ко всем нам.

— Значит, я принадлежу тебе и им, и ты тоже — моя часть.

— Ты наша голова, глупый.

Дину казалось, что сердце его вот-вот разорвет-

ся. Он посмотрел на всех них; на руки, чтобы тянуться и доставать, на тело, чтобы заботиться и чинить, на безмозглый, но безотказный компьютер, и на… управляющую ими всеми голову.

— Мы еще вырастем, Малыш. Мы ведь только что родились.

— Он говорит: не при тебе. Не при такой, как ты, голове. Мы способны буквально на все, но мы ничего не сумеем. Да, вместе мы — существо, это так, но это существо — идиот.

Так Дин познал себя, и подобно горстке людей, сумевших сделать это прежде него, понял, что не на вершине горы стоит он, а у каменистого и неприветливого подножия.

Часть вторая. Малышу – три

Я наконец отправился поговорить с этим Стерном. Он поглядел на меня поверх стола, мигом окинув взглядом с головы до ног, взял карандаш и пригласил:

— Присаживайся, сынок.

Я остался стоять, пока он вновь не поднял глаза. Тогда я сказал:

— Ну а влети сюда комар, вы и ему скажете: присаживайся, малыш?

Он положил карандаш и улыбнулся. Улыбка была такая же острая и быстрая, как взгляд.

— Прости, ошибся, — проговорил он. — Но откуда мне было знать, что ты не хочешь, чтобы тебя называли сынком?

Так было уже лучше, но я все еще кипел.

— К вашему сведению, мне уже пятнадцать лет, и мне это не нравится.

Он вновь улыбнулся и сказал:

— О'кей.

Тогда я приблизился и сел.

— Как твое имя?

— Джерард.

— Имя или фамилия?

— И то и другое одновременно. И еще: не надо спрашивать меня, где я живу.

Он положил карандаш.

— Ну, так мы далеко не уедем.

— Это зависит от вас. В чем дело? Я произвожу впечатление враждебно настроенного человека? Пусть так. Я успел набраться всякой дряни, от которой сам не могу избавиться… иначе бы и не пришел к вам. Это может вам помешать?

— Собственно, нет, но…

— Так что еще вас смущает? Оплата? — Я достал тысячедолларовую бумажку и положил ее на стол. — Счета выставлять не придется. Но *сами* следите за суммой. Израсходуется — скажите, и я принесу еще. Так что мой адрес ни к чему. И кстати, — проговорил я, заметив, что он протянул руку к банкноте. — Пусть пока полежит, мне хотелось бы сперва убедиться в том, что мы с вами договорились.

Он скрестил руки.

— Я так дел не делаю, сы… извини, Джерард.

— Джерри, — поправил я. — Делаете, раз согласились иметь дело со мной.

— Ты несколько усложняешь ситуацию. Откуда ты взял тысячу долларов?

— Выиграл конкурс на лучшую рекламу стирального порошка Судзо. — Я наклонился вперед. — На сей раз это чистая правда.

— Ну хорошо, — кивнул он.

Я был удивлен. И, кажется, он понял это, но ничего не сказал, ожидая продолжения.

— Прежде чем мы начнем… *если* до того дойдет, — сказал я, — мне нужно кое-что выяснить. Все, что вы услышите, пока работаете надо мной, останется между нами, как у священника или адвоката, не так ли?

— Так, — подтвердил он.

— Что бы вы ни услышали?

— Что бы я ни услышал.

Он говорил, а я не отводил от него глаз. И поверил.

— Можете взять деньги, — проговорил я. — Начнем.

Он не стал этого делать, а сказал:

— Заниматься такими вещами — не конфеты есть. Тебе придется помогать мне, и если ты не сумеешь — мои усилия окажутся бесполезными. Незачем вваливаться к первому же психотерапевту, чей телефон ты нашел в справочнике, и требовать от него слишком многого, просто потому, что ты в состоянии за это заплатить.

Я ответил с усталостью в голосе:

— Я отыскал вас не по телефонной книге и уверен, что именно вы мне и нужны. Я перешерстил с дюжину ваших коллег-психопатов, прежде чем решил обратиться к вам.

— Покорнейше благодарю, — проговорил он с таким видом, будто собрался обсмеять меня. — Значит, перешерстил, говоришь? И каким же способом?

— С помощью глаз и ушей. И вообще, давайте-ка отправим этот вопрос к моему адресу.

Он внимательно посмотрел на меня, впервые взглянув прямо, а не мельком и искоса. А потом взял банкноту.

— И что мне теперь следует делать? — спросил я.

— То есть?

— С чего мы начнем?

— Мы начали в тот момент, когда ты вошел в мой кабинет.

Тут уже мне пришлось рассмеяться:

— Отлично, уложили на лопатки. В моем распоряжении было только начало, и я не знал, куда вы приведете меня от него, чтобы не оказаться там вперед вас.

— Очень интересно, — промолвил Стерн. — Ты

всегда просчитываешь все заранее?

— Всегда.

— И как часто оказываешься правым?

— Все время… разве что… надеюсь, мне не нужно рассказывать вам про исключения из правил.

На сей раз он расплылся в ухмылке.

— Понятно. Один из моих пациентов проболтался.

— Один из ваших бывших пациентов. Ваши пациенты молчат.

— Я прошу их об этом, что, кстати, относится и к тебе. Что же ты слышал обо мне?

— Что по словам и поступкам других людей вы знаете, что они собираются сделать или сказать, и иногда позволяете им сделать это, а иногда нет. Как вы научились этому?

Он задумался на минуту.

— Наверное, я просто от рождения наделен способностью подмечать мелкие детали, после чего допустил достаточно много ошибок в общении с достаточным количеством людей и научился не допускать новых.

Я проговорил:

— Если вы ответите на вопрос, мне не придется еще раз приходить сюда.

— Ты и в самом деле не знаешь?

— Хотелось бы знать. Однако этот разговор кажется мне бесцельным.

Он пожал плечами.

— Это зависит от того, куда ты хочешь прийти. — Он снова умолк, наделив меня всей силой своего взгляда. — Какому из кратких описаний психиатрии ты доверяешь в данный момент?

— Не понимаю.

Выдвинув ящик стола, Стерн извлек из него почерневшую трубку. Понюхал ее, повертел в руках, не отводя от меня глаз.

— Тебе известно хоть одно из толкований сущности психиатрии? Ну например: психиатрия имеет дело с луковицей, которую представляет собой личность, и снимает с нее слой за слоем, пока не доберется до крошечного ядрышка — чистого «эго». Или другое: психиатрия как нефтяная скважина — буришь вниз, вбок, снова вниз, пока не попадется богатый пласт. Или третье: психиатрия выхватывает горсточку сексуальных мотиваций, бросает их на детский бильярд твоей жизни и смотрит, как шарики разбегаются по гнездам, ударяясь в разные штырьки. Продолжать?

Усмешка.

— Последнее выглядит, пожалуй, посимпа-

тичнее.

— Едва ли… А вообще-то все они так себе. Дают упрощенное представление о невероятно сложном объекте. Могу заверить тебя лишь в одном: что с тобой неладно, не знает никто, кроме тебя самого. И как лечить, тоже никто не ведает, кроме тебя же, так что, если причина найдется, только ты один сумеешь справиться с ней.

— А зачем тогда *нужны вы*?

— Чтобы слушать.

— Стало быть, приходится платить такие деньги только за то, чтобы меня выслушали.

— Именно. Но ты сам понимаешь, что слушаю я избирательно.

— В самом деле? — удивился я. — Наверное, действительно понимаю. Ну а вы?

— Нет, но ты никогда этому не поверишь.

Я рассмеялся. И он спросил меня, к чему все это. Я ответил:

— Теперь вы не зовете меня сынком.

— Это тебя-то? — Он медленно покачал головой, не отводя от меня глаз, которые медленно поворачивались в орбитах, следуя движению. — Что же такое ты хочешь знать о себе, требуя моего молчания?

— Хочу выяснить, почему я убил человека, —

произнес я непринужденно.

Его это нимало не смутило.

— Ложись сюда.

Я встал.

— На кушетку?

Он кивнул.

Осознанным движением укладываясь на кушетку, я проговорил:

— Чувствую себя прямо как в каком-то поганом мультике.

— Каком же?

— Где парень похож на гроздь винограда, — сказал я, разглядывая светло-серый потолок.

— Как называется?

— Не помню.

— Отлично, — невозмутимым тоном проговорил он. Я внимательно посмотрел на него, уже понимая, что когда такой человек смеется, смеется он в глубине своего существа.

Он продолжил:

— Однажды я напишу книгу и упомяну в ней твой случай. Но твое имя не назову. Что заставило тебя сказать эти слова?

Я не ответил, и он поднялся и сел в кресло позади кушетки, так что я более не видел его за моей спиной.

— Кстати, сынок, можешь прекратить проверять меня, я вполне пригоден для твоих целей.

Я стиснул зубы так, что они заныли. А потом расслабился. Расслабился полностью. Чудесное ощущение.

— Ладно. Простите.

Он ничего не ответил, однако у меня снова возникло ощущение того, что он смеется. Но не надо мной.

А потом он вдруг спросил:

— Сколько же тебе лет?

— Э… пятнадцать.

— Э… пятнадцать, — повторил он. — Что значит «э»?

— Ничего. Мне — пятнадцать.

— Когда я спросил, тебе пришло в голову другое число. Ты подменил его числом пятнадцать.

— Ничего я не подменял! Мне и в самом деле столько!

— Не сомневаюсь, — терпеливо продолжил он. — Так какое это было число?

Я снова вознегодовал.

— Не было другого числа! Чего вы добиваетесь, дробя мои слова на части, пытаясь ухватить то и это и заставить их означать именно то, что вы хотите?

Он молчал.

— Пятнадцать мне, — с негодованием повторил я и добавил: — Но мне не нравится быть только пятнадцатилетним. Ты знаешь это. Я не хочу утверждать, что мне только пятнадцать.

Он все еще ждал, не говоря ни слова, и я признал поражение.

— Число это было восемь.

— Значит, тебе восемь лет. А как тебя зовут?

— Джерри. — Привстав на локте, я повернул голову так, чтобы видеть его. Он разобрал свою трубку и смотрел сквозь черешок на настольную лампу. — Джерри без всяких «э»!

— Прекрасно, — с кротостью отвечал он, заставляя меня устыдиться собственной дурости.

Я откинулся на спину и закрыл глаза. «Восемь, — думал я, — восемь».

— Холодно, — пожаловался я.

Восемь лет, еды нет, куча бед. Ел казенные харчи и всех ненавидел. Не люблю вспоминать это время… Я открыл глаза. Потолок оставался серым. Правильно. Стерн позади меня чистил трубку. Тоже правильно. Я глубоко вздохнул, второй раз и третий, потом закрыл глаза. Восемь. Восемь лет. Восемь бед. Годы-уроды. Голод-холод. Тьфу! Я вертелся на кушетке, пытаясь отогнать холод. Я

ел с блюда нена…

Заворчав, я прогнал из головы и восьмерки, и все, что стояло за ними. Осталась одна чернота. Но она не могла оставаться в покое. Изобразив огромную светящуюся восьмерку, я повесил ее посредине. А она легла набок, кольца ее засветились. Словно в движущихся картинках, которые показывают через бинокуляры. Я собирался хорошенько подумать, нравится ли мне вся эта возня.

И вдруг я сразу сломался, и прошлое снова накатило на меня. Бинокль начал приближаться, и я очутился там.

Восемь — бросим, голод — холод. Голодно и холодно, как сучке в грязючке. Грязючка была в канаве, а канава возле железной дороги. Прошлогодний бурьян кололся. Земля побурела, была твердой, как цветочный горшок. Твердая, припорошенная инеем, холодная, как зимнее утро, занимавшееся над горами. По ночам в чужих домах зажигались теплые огоньки. Днями солнце, наверное, гостило тогда у кого-то, так что мне его вовсе не доставалось.

И я умирал в этой канаве, вечером она казалась мне подходящим местом для ночлега, не хуже любого другого, утром же в ней оставалось лишь

помереть. Не хуже, чем где бы то ни было. Нисколько не хуже. Восемь лет, во рту приторный вкус бутерброда со свиным жиром, кем-то выброшенного на помойку, и ужас… как бывает, когда крадешь джутовый мешок и вдруг слышишь шаги за спиной.

Шаги-то я и услышал.

Я лежал, свернувшись калачиком, и мгновенно перевернулся на живот… иногда тебя без разговоров бьют прямо под дых. Закрыл голову руками, на большее я уже не был способен.

Спустя некоторое время, не шевелясь, я поглядел вперед. Возле головы вырос внушительных размеров ботинок. Из него торчала лодыжка. Рядом с ним появился второй. Не то чтобы я чего-то боялся. Просто было стыдно так вляпаться. За все проведенные мною на воле месяцы им так и не удалось поймать меня. Даже подобраться поближе, а тут… И со стыда я заплакал.

Ботинок ткнул меня, легонько, не ударяя. Перевернул лицом вверх. Я так закоченел от холода, что перекатился, как чурбачок. Только прикрыл руками лицо и голову и зажмурил глаза. Слезы по какой-то причине высохли. Мне кажется, что плакать стоит только тогда, когда есть надежда на помощь.

Но ничего не произошло, и я вновь приоткрыл глаза. Надо мной возвышался мужчина, в целую милю ростом, на нем были выгоревшие рабочие брюки, старая эйзенхауэровская куртка с пятнами от застарелого пота под мышками. Лицо его было покрыто пухом — как у мальчишки, который еще не брился.

— Вставай.

Я поглядел на ботинок, но нога не готовилась к удару. Я попытался подняться и наверняка упал бы, не подставь он мне руку под спину.

— Вставай, — повторил он, — пошли.

Клянусь, я слышал тогда, как трещат мои кости, но сумел подняться. Вставая, я прихватил с земли гладкий белый голыш. И сказал ему:

— А ну-ка, двигай, или я выбью тебе зубы этим булыжником.

Ладонь его протянулась ко мне так быстро, что я даже не сумел заметить, как его палец выковырял камень из моей руки. Я начал ругаться, а он просто повернулся ко мне спиной и побрел вверх по насыпи к колее. По пути он обернулся и бросил:

— Идешь, что ли?

Он не пытался схватить меня, и я не сопротивлялся. Он не убеждал, и я не спорил. Он не бил

меня, и поэтому я не зверел. Я пошел за ним. Он ждал меня. А потом протянул мне руку, но я плюнул в нее. Он поднялся к рельсам и исчез из моего поля зрения. Я сумел взобраться наверх. Кровь начала разогреваться в моих пальцах и ногах, так что они стали казаться исколотыми дикобразом. Когда я поднялся на насыпь, оказалось, что он стоит там и ждет меня.

Путь был совершенно ровным, но едва я устремил глаза вдаль, рельсы накренились, вздыбились и вдруг повисли надо мной, а потом я оказался опять на спине, и перед моими глазами возвышалось холодное небо.

Подойдя поближе, мужчина сел на рельс рядом со мной. Он не стал даже пытаться притронуться ко мне. Я попробовал пару раз вздохнуть и вдруг понял, что со мной все будет в порядке, если я сумею на минутку вздремнуть — всего на одну минутку. Я закрыл глаза. Мужчина жестко и больно ткнул меня пальцем в ребра.

— Не спи, — сказал он.

Я посмотрел на него. И услышал его голос:

— Ты замерз и ослаб от голода. Я хочу взять тебя домой, согреть и накормить. Только путь неблизок. Сам ты его не одолеешь. Я понесу тебя.

— А что ты будешь делать со мной дома?

— Я тебе сказал.

— Хорошо, — ответил я.

Он поднял меня и понес вдоль путей. Если бы он сказал хотя бы одно слово, я остался бы там, возле насыпи, я остался бы там, где лежал, пока не замерз бы насмерть. Впрочем, что ему толку с меня, так или иначе? Я не был годен совершенно ни на что.

Я не стал более размышлять на эту тему, а потом задремал.

Проснулся же, когда он свернул направо с путей. Он шел в лес. Тропы не было, но он прекрасно знал дорогу. Потом я опять проснулся — от скрипа. Он нес меня через замерзший пруд, и льдинки хрустели под ногами. Он не спешил. Я поглядел вниз и заметил, как от ног его разбегались белые трещины, но мне было все равно, и я снова уснул.

Наконец он опустил меня. Мы добрались до жилища. Я оказался в жарко натопленной комнате. Он поставил меня на ноги. Я отскочил от него подальше. Первым делом отыскал взглядом дверь, немедленно бросился к ней и привалился спиною на тот случай, если придется бежать. И лишь потом огляделся.

Комната была большая. Одну стену образовы-

вала неровная скала. Другие оказались бревенчатыми — щели между бревен были старательно заделаны. Свет лился скорее из стены — не от очага, находившегося посреди комнаты. В стене была устроена какая-то ниша, в ней на полочке стоял старый автомобильный аккумулятор, от него тянулись провода к двум электрическим лампочкам. Еще там был стол, какие-то ящики и пара трехногих табуретов. Воздух пах дымом и таким чудесным, рвущим сердце сладостным ароматом еды, что рот наполнился слюной.

— Ну, Малыш, и что же это я притащил? — спросил мужчина.

В комнате было полно детей. На первый взгляд их было всего трое, только почему-то казалось, что их куда больше. Девочка моих лет — восьмилетняя то есть — с пятнышком синей краски на щеке. Перед ней стояли мольберт и палитра, целый пучок разных кистей, но она ими не пользовалась — мазала прямо пальцами. Потом была еще маленькая негритяночка, чуть старше пяти лет, она глядела на меня большими глазами. В деревянной колыбельке на козлах располагался младенец, месяцев трех или четырех от роду. Обычный младенец, который гулил, пускал пузыри, болтал ногами и руками.

Когда мужчина заговорил, девочка отвернулась от мольберта и поглядела на младенца. Тот по-прежнему пускал пузыри.

— Его зовут Джерри, — проговорила она. — Он свихнулся.

— И от чего же? — поинтересовался мужчина. Он тоже глядел на младенца.

— От всего, — отвечала девочка, — и от всех.

— А откуда он?

— Эй, что это такое, — возмутился я, но на меня никто и не думал обращать внимания. Мужчина задавал вопросы младенцу, девочка отвечала. Более дурацкой сцены я еще не видел.

— Он убежал из приюта, — сказала девочка. — Там он был сыт, но никто не радовался ему.

Тогда я открыл дверь, и внутрь хлынул холод.

— Эй, ублюдок, — сказал я хозяину, — так ты из школы?

— Джейни, закрой дверь, — произнес мужчина. Девочка у мольберта не шелохнулась, но дверь за моей спиной хлопнула. Я попытался открыть ее — она даже не шевельнулась. Взвыв, я бросился на дверь.

— Придется поставить тебя в угол, — проговорил мужчина. — Ну-ка, Джейни.

Джейни только поглядела в мою сторону, и

один из трехногих табуретов поплыл по воздуху прямо ко мне. Потом завис и перевернулся набок. Подтолкнул меня сиденьем. Я дернулся в сторону — прямо в угол. Стул наступал. Я попытался сбить его вниз, но только ушиб руку. Я нырнул, но он успел опуститься ниже меня. Я взялся за него и попробовал перелезть. Тогда табурет упал, и я вместе с ним. Потом я встал и, дрожа, замер в углу. Стул повернулся как надо и устроился на полу прямо передо мной.

Мужчина проговорил:

— Спасибо, Джейни. — Потом повернулся ко мне. — Пока постой там. Не нужно было шуметь.

И, повернувшись к младенцу, продолжил:

— Он тот, который нам нужен?

Опять ответила девочка:

— Ну да. Он и есть.

— Ну, — сказал мужчина, — отлично! — Потом подошел ко мне. — Джерри, ты можешь жить здесь. Я не из школы. И никогда тебя туда не отдам.

— Да ну…

— Он тебя ненавидит, — продолжила Джейни.

— И что мне теперь нужно с этим делать? — поинтересовался мужчина.

Джейни заглянула в колыбель.

— Покорми его. — И мужчина принялся возиться у очага.

Чернокожая девочка все стояла на том же самом месте, не отводя от меня вытаращенных глаз. Джейни вновь повернулась к своему мольберту, младенец просто лежал, как и прежде, так что я перевел взгляд на крошечную негритяночку.

— Какого черта уставилась, — бухнул я. Она ухмыльнулась и ответила:

— Джерри, хо-хо, — и сразу исчезла. По-настоящему исчезла, честное слово! Ее словно выключили, и только одежонка осталась на полу — все тряпки кучкой свалились на том месте, где она только что стояла.

— Джерри, хи-хи, — услыхал я потом. Поглядел вверх — там она и оказалась, голышом устроившись в маленькой нише под самым потолком, и тут же испарилась, заметив мой взгляд.

— Джерри, хо-хо, — послышалось снова. Теперь она примостилась на ящиках, служивших им комодом.

— Джерри, хи-хи! — она оказалась уже под столом.

— Джерри, хо-хо! — услышал я прямо над ухом. Я завопил и попытался сбежать, но ударился о стул. Мне стало по-настоящему страшно. Я вжал-

ся в угол.

Мужчина, сидевший у очага, бросил на нас строгий взгляд.

— Эй, дети, прекратите!

Наступило молчание, и девочка медленно вылезла из нижнего ряда ящиков. Подошла к своей одежонке, натянула ее.

— А как это ты делаешь? — поинтересовался я.

— Хо-хо, — отвечала та.

Джейни пояснила:

— Все просто, на самом деле они близнецы.

— А, — выдавил я. Откуда-то вынырнула другая девочка и стала рядом с первой. Не отличишь. Стоя бок о бок, они глядели на меня. На этот раз я не возражал.

— Это Бони и Бини, — представила художница, — это Малыш, а это, — она показала на мужчину, — Дин. А я Джейни.

Не зная, что и сказать, я только вымолвил:

— Понятно.

Дин попросил:

— Джейни, воды.

Плеснула вода, я не видел откуда.

— Довольно, — поблагодарил он и повесил котелок над огнем. Потом взял надтреснутую фарфоровую тарелку, на ней были куски мяса и

клецки с морковкой, обильно политые подливой. — Эй, Джерри, садись.

— На это? — я глянул на стул.

— Конечно.

— Меня не обманешь, — отвечал я, принимая тарелку и отворачиваясь с нею к стене.

— Эй, — сказал он чуть погодя, — полегче. Мы уже поели, и ничего у тебя не собираемся отбирать. Не торопись.

Я припустил еще быстрее и уже почти покончил с клецками, когда меня вывернуло наизнанку. Голова моя почему-то ударилась об угол стула. Чувствовал я себя сквернее некуда.

Дин подошел и поглядел на меня.

— Бедняга, — проговорил он. — Прибери-ка за ним, Джейни.

И прямо на моих глазах лужа исчезла с полу. Но я уже не был способен удивляться. Я почувствовал его руку, которая взъерошила мои волосы.

— Бини, дай ему одеяло. И ну-ка спать. Ему нужно отдохнуть.

Я почувствовал на себе одеяло и уснул, наверное, прежде, чем Дин успел уложить меня.

Не знаю даже, через какое время я очнулся. Спросонья я не понял, где нахожусь, и это меня испугало. Я приподнял голову и увидел тускло

рдевшую кучку углей в очаге, а рядом с очагом спавшего Дина. Мольберт Джейни чернел огромным богомолом. Я заметил, как из колыбели вынырнула голова Малыша, правда, не мог понять, смотрит он на меня или нет. Джейни лежала на полу возле двери, близнецы спали на старом столе. Ничего не шевелилось, только покачивалась головенка младенца.

Я встал на ноги и огляделся: комната как комната, с одной только дверью. Я на цыпочках отправился к выходу. Когда пробирался мимо Джейни, она открыла глаза.

— Куда ты? — спросила она.

— Не твое дело, — отвечал я. Потом непринужденно зашагал к двери, одним глазом следя за девчонкой. Она не шевелилась. Дверь со вчерашнего дня оставалась плотно закрытой.

Я вернулся к Джейни. Она спокойно поглядела на меня, не выражая никакого смущения. Тогда я пробормотал:

— Мне за угол надо, понимаешь?

— А, — отвечала она, — что ж ты сразу не сказал.

Я вдруг охнул и ухватился за пузо. Мной овладело совершенно неописуемое чувство. С одной стороны, вроде бы больно, а с другой — не боль-

но. Ничего похожего со мной в жизни еще не случалось. Слышно было, как за дверью что-то плеснуло на снег.

— О'кей, — кивнула Джейни, — теперь ступай спать.

— Но мне надо…

— Что тебе надо?

— Ничего. — Это было правдой. Мне действительно никуда уже не было нужно.

— В следующий раз говори прямо, не стесняйся.

Я промолчал и вернулся на свое одеяло.

— И это все? — спросил Стерн. Я лежал на кушетке, уставившись в серый потолок. Он повторил: — Сколько же тебе лет?

— Пятнадцать, — сонным голосом отвечал я. Он ждал. Под серым потолком проступали стены, ковер, лампы и стол, за которым на стуле сидел он сам. Я сел, на секунду обхватил голову руками и тогда только посмотрел на него. Не отводя от меня глаз, он по-прежнему занимался трубкой.

— Что вы со мной сделали? — спросил я.

— Я уже говорил: ничего. Все делаешь ты сам.

— Вы загипнотизировали меня.

— Нет. — Голос звучал уверенно и правдиво.

— Что же это было? Я… я словно пережил все

заново.

— И что-нибудь почувствовал?

— Все почувствовал, — я передернул плечами, — все до последней мелочи. Что это было?

— Когда такое проделаешь, становится легче. Теперь ты можешь сам практиковать это, и с каждым разом боль будет угасать. Вот увидишь.

Я изумился, впервые за последнее время. Потом обдумал слова Стерна и спросил:

— Если я все сделал сам, почему же прежде такого не случалось?

— Нужно, чтобы кто-нибудь слушал.

— Слушал? Значит, я говорил?

— Не закрывал рта.

— Обо всем, что случилось?

— Откуда мне знать. Меня там не было. Это ты все видел.

— А ты поверил мне? И про исчезающих девчонок, и про летающий табурет?

Он пожал плечами:

— Моя работа состоит не в том, чтобы верить или не верить. Главное, что для тебя все это было реальным…

— Еще как!

— Ну в этом-то и заключается самое главное. Значит, с ними ты сейчас и живешь?

Я откусил досаждавший мне ноготь.

— Жил, но недолго, пока Малышу не стало три. — Я посмотрел на него. — Вы напомнили мне Дина.

— Почему?

— Не знаю. Впрочем, нет, вы на него не похожи, — торопливо добавил я и снова лег. — Не знаю, что заставило меня сказать вам это.

Потолок стал серым, свет ламп потускнел, черешок трубки звякнул о его зубы. Я пролежал так долгое время.

— Ничего не происходит, — сообщил я ему.

— А что, по-твоему, должно было произойти?

— Что-то вроде того, что было.

— В тебе есть кое-что еще, и оно просится наружу. Дождись.

В моей голове словно проворачивался барабан револьвера, в котором запечатлены места, предметы и люди, с которыми я был знаком. Я заставил барабан остановиться, и остановился он в пустом месте. Я снова раскрутил его, и снова остановил.

— Опять ничего.

— Малышу три, — повторил он.

— Ах, это, — проговорил я, закрывая глаза.

Ночь за ночью спал я на том одеяле, а многие

ночи и не спал. В доме Дина вечно что-то происходило. Иногда я дремал днем. Одновременно все укладывались, как я понял потом, лишь когда кто-то болел, как было тогда, когда Дин принес меня. В комнате всегда было сумрачно. Очаг горел и ночью, и днем. Две старые лампы желтели над головой. Когда они начинали тускнеть, Джейни что-то делала с аккумулятором, и свет разгорался ярче.

Джейни, кажется, делала вообще все необходимое, за что не брался никто другой. Дина частенько не бывало дома. Иногда он брал в помощь близнят, только их отсутствие трудно было определить, они то исчезали, то появлялись — *бам*, и готово. А Малыш так и оставался в своей колыбели.

Я и сам кое-что делал. Нарубил дров, смастерил полки. Иногда мы с Джейни и близнятами отправлялись купаться. Еще я разговаривал с Дином. Но такого, как остальные, я не умел и поэтому злился, злился все время. Ведь часто я не знал, чем бы заняться. Впрочем, это не мешало нам *слидиняться*. Так говорила Джейни. Она утверждала, что словечко подсказал ей Малыш: это когда все становятся одним, даже если заняты разными делами. Ну как две руки, две ноги, тело

и голова трудятся вместе, хотя голова не умеет ходить, а руки не думают. Дин сказал, что в этом слове перепутались два: «сливаться» и «соединяться».

Малыш все время был в действии. Как радиостанция, двадцать четыре часа в сутки. Хочешь — слушай, хочешь — нет, но сигналы она посылает регулярно. И если я скажу, что он говорил, то ничем не отступлю от истины. Его дрыганье руками и ногами казалось бессмысленным. На самом деле это были сигналы — причем каждое движение выражало не букву, а целую мысль.

Ну, например, если протянуть левую руку, высоко поднять правую и притопнуть левой пяткой, получалось: «Всякий, кто считает скворца вредителем, ничего не знает о том, как мыслит скворец», — или что-нибудь в этом роде. Это Джейни заставила Малыша изобрести такой телеграфный язык. Она говорила, что слышит, как думают близнецы, — именно слышит их мысли, — а они слышат Малыша. Так что она могла сперва спросить у них, они у Малыша, а потом уже передать ей его ответ. Однако они росли и постепенно начали утрачивать эту способность. Поэтому Малыш научился понимать чужую речь и отвечать своим семафором.

Дин не умел понимать его, и я тоже. Близнецам это было абсолютно все равно. Джейни следила за ним все время. Он всегда знал, что ты имеешь в виду, если ты собирался его о чем-то спросить, давал свой ответ Джейни, и она пересказывала его нам. Отчасти, конечно, потому, что полностью его никто не мог понять, даже она сама.

Малыш совсем не рос. Джейни росла и близнята, я тоже, но только не этот младенец. Он просто лежал. Джейни наполняла его живот и раз в два-три дня очищала его. Он не плакал, не производил никакого шума. К нему никто и не подходил.

Каждую нарисованную ею картинку Джейни показывала Малышу, потом чистила доски и принималась за новые. Очищать их от краски ей приходилось, потому что у нее было всего три доски. Оно и к лучшему, страшно подумать, во что превратилась бы комната, если бы Джейни их сохраняла, ведь она рисовала в день по четыре-пять штук. Дин с негритятами замаялись, добывая для нее скипидар. Краски-то она возвращала с картинок обратно в горшочки, но скипидарить каждый раз приходилось заново. Она говорила, что Малыш помнит все картинки до единой, потому-то ей и не нужно хранить их.

Она рисовала какие-то машины, шестеренчатые коробки, механические узлы и что-то вроде электрических схем.

Однажды мы с Дином отправились за скипидаром и ветчиной; лесом спустились к железной дороге, потом по путям прошли пару миль до места, откуда были видны городские огни. Потом снова лесом по просекам, на дальнюю улицу.

Дин всегда был один и тот же — шагал впереди и думал, думал.

Мы пришли к скобяному ларьку. Посмотрев на висячий замок, он покачал головой и вернулся ко мне. Потом мы нашли лавчонку, где торговали всякими мелочами. Дин забормотал, и мы остановились у двери. Я заглянул внутрь.

Вдруг там оказалась Бини — голышом, она всегда путешествовала подобным образом. И принялась отпирать дверь изнутри. Мы вошли, и Дин запер за собой замок.

— Отправляйся домой, Бини, — проговорил он, — пока не промерзла.

Та ухмыльнулась мне, проговорила свое «хо-хо» и исчезла.

Мы взяли пару отличных окороков и двухгалонную бутыль скипидара. Я прихватил было ярко-желтую шариковую ручку, но Дин отвесил

мне подзатыльник и заставил положить ее на место.

— Бери лишь то, что нужно, — пояснил он. Мы ушли, тогда Бини вновь вернулась туда, заперла дверь изнутри и отправилась восвояси. Дин брал меня с собой, когда ноша бывала ему не под силу.

Так я прожил около трех лет. Это все, что я помню об этом времени. Присутствия Дина в доме не ощущалось вне зависимости от того, находился он в доме или нет, близнецы все время были заняты друг другом. Джейни мне нравилась, но мы с ней редко говорили. Вот Малыш не умолкал — хотя я не знаю, о чем он трещал.

И все мы были заняты делом и слидинялись.

Я резко сел на кушетке.

— Что случилось? — спросил Стерн.

— Мы топчемся на одном месте.

— Ты сказал это, едва мы успели начать. Но все-таки есть разница между этим сеансом и предыдущим?

— О да, но…

— Тогда откуда ты можешь быть уверен в том, что прав на этот раз? — Я ничего не ответил, и он спросил: — Разве последний отрезок тебе не понравился?

Я сердито ответил:

— Не могу сказать, что мне что-то нравилось здесь, или не нравилось. Просто это какая-то бессмыслица… пустые разговоры.

— Так есть какая-то разница между тем, что случилось сейчас и было раньше?

— Чтоб мне лопнуть! Во время первого сеанса я все события ощущал, словно заново их пережил. На этот раз — ничего подобного.

— Ну и почему так произошло?

— Не знаю. Объясните.

— Предположим, — задумчиво проговорил он, — с тобой в прошлом случилось нечто настолько неприятное, что ты боишься даже подобраться к этому эпизоду.

— Неприятное? А замерзать в канаве — это приятно?

— Ну неприятности бывают разные: случается, что штука, которую ты пытаешься вспомнить — ну, которая повинна в твоих бедах, — настолько отвратительна, что сознание не смеет даже приближаться к ней. Наоборот — стремится спрятать ее поглубже. Впрочем, постой, — внезапно проговорил он. — Возможно, слова «отвратительное» и «неприятное» не точны. Бывает и обратное. Причина твоих несчастий может оказаться на-

столько желанной, что ты и менять ничего не хочешь.

— Я как раз *хочу* найти ее.

Стерн ждал, словно ему сначала нужно было что-то выяснить самому, а потом спросил:

— В этих двух словах «Малышу три» — есть нечто отталкивающее тебя? Почему?

Я молчал. Он подошел к столу.

— Если бы я это знал.

— Кто это сказал?

— Не знаю… э…

Он ухмыльнулся.

— Опять «э»?

Я ухмыльнулся в ответ.

— Ну я сказал.

— Хорошо. Когда?

Улыбка сбежала с моего лица. Он наклонился вперед и встал.

— В чем дело? — спросил я.

Он ответил:

— Вот уж не думал, что можно настолько свихнуться.

Я промолчал, и он направился к собственному столу.

— Сдается мне, ты уже не хочешь продолжать, так я понимаю?

— Не хочу.

— А если я, предположим, скажу тебе, что ты хочешь прекратить наш разговор именно потому, что вот-вот обнаружишь искомое?

— Тогда почему вы не скажете это напрямую, а потом увидите, как я буду реагировать?

Он покачал головой.

— Ничего не могу тебе сказать. Уходи, если хочешь. Я дам сдачу с твоей тысячи.

— А часто ли люди отказываются идти дальше, когда оказываются на пороге ответа?

— Не так чтобы очень.

— Ну и я не собираюсь отказываться. — С этими словами я лег на кушетку.

Он не рассмеялся, не сказал «хорошо», никак не выразил своего одобрения, просто поднял телефонную трубку и дал указания:

— На сегодня прием окончен. — Потом он направился к своему креслу — туда, откуда мне его не было видно.

И опять тишина. Полная. Комната явно была звукоизолирована.

— Как вы считаете, почему Дин взял меня к себе в дом, хотя я не мог делать ничего из того, что умели другие дети?

— Возможно, ты ошибаешься в этом.

— Ну нет, — проговорил я с полной уверенностью. — Я пытался. Для своего возраста я был сильным ребенком, а кроме того, умел держать рот на замке, но во всем остальном ничем не отличался от обыкновенных детей. И не думаю, что отличаюсь теперь, если не считать тех отличий, которыми меня наградило проживание с Дином и его ребятишками.

— Имеет ли это какое-то отношение к словам: «Малышу — три»?

Я посмотрел на серый потолок.

— Малышу три. Малышу три. Я пришел к большому дому по извилистой дорожке, проходящей под чем-то вроде театрального занавеса. Малышу три. Малышу…

— Сколько тебе лет?

— Тридцать три, — сорвалось с моих губ, и я тут же как ошпаренный вскочил с кушетки и бросился к двери.

Стерн рукой остановил меня.

— Не дури, или ты хочешь, чтобы я потратил впустую полдня?

— Что мне с того? Я плачу за это.

— Хорошо, как знаешь.

— Сколько тебе лет?

Я вернулся и сказал:

— Все это мне совершенно не нравится.

— Хорошо. Уже теплее.

— Но почему я сказал «тридцать три»? Мне же не тридцать три, мне пятнадцать. И еще кое-что…

— Да?

— Это о том, что Малышу три. Это я сказал, правильно. Но если подумать — голос не мой.

— Как и тридцать три не твой возраст?

— Да, — прошептал я.

— Джерри, — дружелюбно проговорил он, — бояться тут нечего.

Я понял, что задыхаюсь. Постарался успокоиться и сказал:

— Не нравится мне то, что мои воспоминания стали говорить чужим голосом.

— Видишь ли, — сказал он, — наша работа — мозгоправов, если так можно выразиться, — на самом деле вовсе не такова, какой ее представляют люди. Когда вместе с тобой я вхожу в мир твоего сознания, то есть когда ты сам углубляешься в него, мы обнаруживаем нечто, не столь уж отличающееся от так называемого реального мира. Сначала кажется по-другому, ведь каждый пациент является к нам с собственным набором фантазий, иррациональных событий и загадоч-

ных восприятий. Каждый человек обитает в подобном мире. Когда кто-то из древних сказал: «Правда удивительнее вымысла», он имел в виду именно это.

Куда бы мы ни пошли, чем бы ни занялись, нас окружают символы, предметы настолько знакомые, что мы даже не смотрим на них или же не замечаем, если и смотрим. Если бы кто-то мог в точности поведать тебе, что именно он видел и думал, пройдя десять футов по улице, ты получил бы самую искаженную, путанную, туманную и неполную картину из всех, которые тебе приходилось видеть. Никто и никогда не воспринимает окружающее с полным вниманием до тех пор, пока не попадает в подобный моему кабинет. Тот факт, что он рассматривает прошлые события, абсолютно ничего не значит; существенно другое — то, что он видит теперь яснее потому лишь, что впервые прилагает усилия.

Теперь о твоем «тридцать три». Едва ли можно получить потрясение более сильное, чем обнаружить в себе чужие воспоминания. Своя личность слишком важна, чтобы можно было позволить себе такое отступление от нее. Учти еще, что мышление закодировано, и человек способен расшифровать лишь десятую часть собственных

мыслей. И вот вдруг он натыкается внутри себя на участок кода, вызывающий у него отвращение. Разве трудно понять, что ключ к такому коду ты можешь отыскать единственным способом — перестать отворачиваться от него?

— Вы хотите сказать, что я начал вспоминать… чужие мысли?

— Так тебе показалось на какое-то время, — но и это важно. Давай попробуем разобраться.

— Хорошо. — Мне было дурно. Я устал. И вдруг понял, что дурнота и усталость — только попытки уклониться.

— Малышу — три, — проговорил он.

Малышу — сколько угодно. И три, и тридцать три, и между пятью и семью. Кью.

— Кью! — выкрикнул я. Стерн молчал. — Слушайте, не знаю почему, но, кажется, я нашел дорогу, только другую. Ничего не случится, если я попробую иначе?

— Ты сам лечишь себя, — напомнил он. Пришлось рассмеяться. Потом я закрыл глаза.

А там… Лужайки только что помыли и причесали, и цветы прямо дрожали от страха, как бы ветерок не растрепал их лепестки.

Я шел вверх по дороге, тесные ботинки жали. Я не хотел идти в этот дом, но пришлось. Я поднял-

ся по ступеням меж белых колонн и поглядел на дверь. Интересно, что за ней, но она была такая белая и прочная… Над ней, слишком высоко, располагалось окошко навроде веера, и еще два окошка соседили с ней по сторонам. Все три с разноцветными стеклами. Я ткнул дверь ладонью, тут же оставив грязный след.

Ничего не произошло, поэтому мне пришлось постучать снова. Дверь распахнулась. В ней появилась высокая худощавая служанка из цветных.

— Что тебе нужно?

Я сказал, что мне надо повидать мисс Кью.

— Мисс Кью не разговаривает с такими, как ты, — отрезала она. — Поди умойся сперва.

Тогда я начал свирепеть — я уже на лестнице пожалел, что пришел сюда, заставив себя приближаться днем к людям и все такое, однако, собрав все свое терпение, проговорил:

— Мое лицо здесь ни при чем. Где мисс Кью? Ступай-ка разыщи ее.

Она охнула:

— Как ты смеешь так говорить со мной?

Я ответил:

— Вот уж не собирался никаким образом говорить с тобой. Впусти меня.

Я хотел уже прибегнуть к помощи Джейни. Она запросто сдвинула бы эту тетку с места. Но я сам должен был все сделать. И такого приема не ожидал. Она захлопнула дверь, прежде чем я успел даже раз ругнуться.

Поэтому я принялся колотить в дверь ногами. Вот для чего пригодились башмаки. Немного погодя она снова распахнула дверь, да так внезапно, что я чуть не упал на задницу. Размахивая щеткой, она завизжала:

— Убирайся отсюда, подонок, иначе полицию вызову!

А потом толкнула меня так, что я и впрямь упал.

Поднявшись с пола, я кинулся к ней. Она отступила назад, и, когда я оказался поблизости, огрела меня щеткой, но я-то был уже внутри дома. Я как раз отобрал у нее орудие, но совсем рядом кто-то произнес: «Мириам!» — с интонацией взрослой гусыни.

Я замер на месте, а служанка истерически завопила:

— Ох, мисс Алисия, да вы гляньте только! Он убьет вас. Вызывайте полицию. Он…

— Мириам! — прозвучал тот же голос, и служанка умолкла.

Наверху лестницы стояла строгая с виду женщина в расшитом кружевами платье. Она показалась мне старше, чем была на самом деле, возможно, потому, что рот ее был сжат буквально в ниточку. Должно быть, ей было года тридцать три… *тридцать три*! Смущенные глаза, небольшой нос.

Я спросил:

— Это вы и есть мисс Кью?

— Да, я. А в чем причина вторжения?

— Мне нужно переговорить с вами, мисс Кью.

— Нужно? Так выпрямись и открой рот.

Служанка проговорила:

— Все, вызываю полицию.

Мисс Кью обернулась к ней.

— Успеем, Мириам. Ну, неряха, отвечай, что тебе нужно.

— Мне нужно говорить с вами с глазу на глаз, — проговорил я.

— Не надо, не соглашайтесь, мисс Алисия! — выкрикнула служанка.

— Успокойтесь, Мириам! А ты говори при ней.

— К чертям! — Обе охнули. — Дин не велел мне этого делать.

— Тихо, Мириам. Молодой человек, следует все-таки придерживать язык… — И тут глаза ее

округлились. — *Кто* тебе не велел?..

— Дин.

— Дин. — Стоя наверху лестницы, она опустила взгляд к ее подножию и сказала: — Мириам, пусть будет так. — Слова эти, похоже, произносила совсем другая женщина.

Служанка открыла рот, но мисс Кью нацелила на нее указательный палец. Словно разглядев на конце его револьверную мушку, служанка капитулировала.

— Эй, — окликнул я, — вот твоя щетка.

Я уже намеревался кинуть ее этой тетке, но мисс Кью пошла ко мне и отобрала у меня щетку.

— Иди сюда, — указала она.

Мисс Кью провела меня в какую-то комнату величиной с наш купальный пруд. Кругом было много книг, стояли столы, обитые кожей с золочеными цветочками по углам. Она указала мне на кресло:

— Садись. Нет, подожди минутку. — Она отправилась к камину, извлекла газету из ящика и, развернув, закрыла ею сиденье кресла. — Теперь можешь.

Я уселся на газету. А она пододвинула еще одно кресло, но класть газету на него не стала.

— В чем дело? Где Дин?

— Он умер, — отвечал я.

Она охнула и побледнела. И все глядела на меня, пока глаза ее не увлажнились.

— Вам худо? — спросил я.

— Умер? Дин умер?

— Да. На той неделе была большая вода, она размыла корни старого дуба. Следующей ночью Дин проходил рядом, когда случился сильный порыв ветра. Дерево и свалилось на него.

– *Свалилось* на него, — прошептала она. — Ах, нет… этого не могло произойти.

— Все так, я не вру. Сегодня утром мы закопали его. Терпеть было уже невозможно, он начинал см…

— Подожди. — Она закрыла лицо руками.

— В чем дело?

— Сейчас со мной все будет в порядке, — негромко поговорила она. Встала, подошла к камину и замерла спиной ко мне. Ожидая, пока она вернется, я скинул с ноги башмак. Однако она возвращаться в кресло не стала. — Так ты и есть его мальчишка?

— Да, он велел, чтобы я пришел к вам.

— О, мое дорогое дитя! — Она бросилась назад, и я уже подумал, что она вот-вот возьмет меня на руки или выкинет еще что-то в том же роде.

Однако она остановилась передо мной, чуть наморщив нос. — А… а как тебя зовут?

— Джерри, — отвечал я.

— Ну, Джерри, а как ты посмотришь на то, чтобы жить со мной в этом доме? У тебя здесь будет все… одежда, еда!

— Об этом и была речь. Дин велел, чтобы я шел к вам. Он сказал, что деньги свои вы не знаете куда девать, а еще сказал, что вы в долгу перед ним.

— В долгу? — Она заволновалась.

— Ну, — попробовал я объяснить, — он говорил, что когда-то что-то сделал для вас и что вы обещали расплатиться с ним. Вот и все.

— И что же он говорил тебе об этом? — К тому времени она уже справилась с собой.

— А ни фига.

— Пожалуйста, не говори больше подобных слов. — Она зажмурила глаза. Потом открыла их и кивнула. — Обещала и сделаю. Можешь оставаться у меня. Если хочешь, конечно.

— Я не могу сделать иначе. Дин *приказал* мне.

— Тебе будет хорошо здесь, — пообещала она, оглядев меня с ног до головы. — Я пригляжу за этим.

— О'кей. Можно звать остальных ребятишек?

– *Остальных*… Сколько вас?

— Да, речь не обо мне одном, обо всех нас… о нашей шайке.

Она откинулась на спинку кресла, достала дурацкий маленький платочек, промокнула им губы, не отрывая от меня взгляд.

— А теперь расскажи мне о них… об этих детях.

— Ну, там у нас есть еще Джейни, ей одиннадцать, как и мне. Бини и Бони по восемь, они близнецы. Еще Малыш. Ему три.

Я заорал. Но Стерн уже стоял на коленях возле кушетки и держал руками мою голову, мотавшуюся с боку на бок.

— Отлично, мальчик, — проговорил он, — вот и нашел, еще не ясно, что именно, но докопался, это уж точно.

— Докопался, — согласился я. — Дайте попить.

Он плеснул воды из термоса. От холода даже заломило зубы. Я лежал и отдыхал, словно только что взобрался на гору.

— Больше такого мне не вынести.

— Ты хочешь сказать, что на сегодня с тебя хватит?

— А с вас?

— Я, пожалуй, еще потерплю, если только выдержишь ты.

Я подумал.

— Хотелось бы, однако новых хождений вокруг да около я уже не перенесу. Во всяком случае, пока.

— Если ты хочешь еще одну из приблизительных аналогий, — продолжал Стерн, — психиатрия — вроде карты дорог. И достичь одного и того же места можно разными путями.

— Придется помучиться, — вздохнул я. — Это только сперва восьмиполосное шоссе… А потом — по горной тропке. Но ведь я не знаю, где сворачивать?

Он хохотнул. Мне понравился его смех.

— Вон за той грунтовкой.

— Пытался. Только там смыло мост.

— Ты уже знаешь эту дорогу, — сказал он, — начнем сразу от моста.

— Никогда не думал, что так можно. Мне казалось, я должен заново проделать ее, дюйм за дюймом.

— Необязательно. Может, придется, а может, и нет, но мост легче перейти, когда ясна вся остальная дорога. На мосту может и оказаться, и не оказаться ничего ценного, однако ты не сумеешь подойти к нему, если не осмотрел все остальное.

— Тогда пошли. — Я ощутил растущую реши-

мость.

— Хочешь еще совет?

— Нет.

— Просто говори, — сказал он, — не пытайся слишком глубоко погружаться в то прошлое, о котором идет речь… Первый отрезок, когда тебе было восемь, ты по-настоящему прожил, второй, с детьми, — подробно пересказал. Визит, что был в одиннадцать лет, воскресил. Теперь просто говори.

— Хорошо.

Он помедлил и спокойно сказал:

— Так, значит, в библиотеке ты поведал ей об остальных детях.

Я рассказал ей о… а потом она сказала… и что-то случилось, и я завопил. Она утешала меня, а я… я грубил. Однако теперь речь была не об этом. Мы шли дальше.

Библиотека. Кругом кожа. И я стараюсь сделать с мисс Кью то, что говорил Дин.

А сказал он так:

— На верхушке холма около Высот живет женщина по фамилии Кью. Ей придется позаботиться о вас. Вы должны заставить ее сделать это. Слушайтесь ее во всем, только держитесь вместе. А кроме того, живите так, чтобы мисс Кью была

счастлива, и она постарается, чтобы вы были счастливы. И смотрите, чтобы никто из вас, ни один, помни, не сбежал от остальных. А теперь делайте то, что я сказал.

Так сказал нам Дин. И каждое его слово было соединено с другими как бы стальным тросом, так что образовывало в общей сложности единое целое. Во всяком случае, я разрушить его не мог.

Мисс Кью спросила:

— А где сейчас твои сестры и малыш?

— Я приведу их.

— Это недалеко?

— Достаточно близко. — Она промолчала, и я поэтому встал. — Скоро вернусь.

— Подожди, — остановила меня она. — Мне… некогда было подумать. Надо устроить все, понимаешь?

Я отвечал:

— И думать вам незачем, и все уже готово. Пока.

По пути к двери меня догнал ее голос, становившийся все громче и громче по мере того, как я уходил:

— Ну, вам, молодой человек, если вы собираетесь жить в этом доме, придется поучиться хорошим манерам… — И еще что-то в этом роде.

Я вышел из дома, прокричав ей в ответ:

— Да, ладно, *ладно*.

Солнце пригревало, небо было ясным, и в дом Дина я вернулся достаточно скоро. Огонь в очаге погас, от Малыша разило. Джейни, перевернув палитру, сидела на пороге, уткнувшись лицом в ладони. Бини и Бони, примостившись на одном табурете, так тесно прижались друг к другу, словно стоял мороз, а не жара.

Я шлепнул Джейни по руке, чтобы вывести ее из уныния. Она подняла голову, и я увидел, что серые глаза ее — ну или, может быть, чуть зеленоватые — стали цвета воды в немытом стакане из-под молока.

Я спросил:

— Что это здесь произошло?

— Что еще и с кем могло здесь произойти? — захотела узнать она.

— Со всеми вами.

— Просто нам здесь все опостылело, вот и все, — безучастно проговорила Джейни.

— Да ладно вам, — сказал я. — Надо выполнять волю Дина. Пошли.

— Нет.

Я посмотрел на близнецов. Обе повернулись ко мне спиной.

Джейни произнесла:

— Они голодны.

— Ну так дай им чего-нибудь.

Она пожала плечами. Я так и сел. И с какой стати Дину понадобилось попадать под это самое дерево…

— Мы теперь не можем слидиняться, — буркнула Джейни. Тут я все понял.

— Что ж, — сказал я. — Придется мне быть за Дина.

Малыш забрыкал ногами. Джейни глянула на него.

— Ты не способен на это, — перевела она.

— Но я ведь знаю, где брать скипидар и харчи, — настаивал я. — Знаю, где набрать упругого мха и забить им щели, где рубить дрова. Правда, я не умею за многие мили позвать Бони и Бини, чтобы отпереть двери. И не могу сделать, чтобы все слидинялись.

Так прошли томительные часы. Наконец скрипнула колыбель. Я поднял голову, Джейни как раз смотрела в нее.

— Хорошо, — сказала она. — Идем.

— Кто это сказал?

— Малыш.

— Так кто же сейчас всем заправляет? — спро-

сил я, немного озлившись. — Я или Малыш?

— Малыш, — отвечала Джейни.

Я поднялся, чтобы дать ей в зубы, но вдруг остановился. Если Малыш способен заставить их сделать то, что хотел Дин, значит, это будет сделано. А если я начну суетиться и пинать всех наружу, все так и останется на своем месте. Поэтому я промолчал. Джейни встала и вышла вон. Близнецы проводили ее взглядом. Потом Бони исчезла. Подобрав ее одежду, ушла через дверь Бини. Я достал Малыша из колыбельки и взвалил на плечо.

Когда все мы оказались снаружи, стало как-то легче. Вечерело, но было тепло. Близнецы порхали в кронах деревьев, как две белки-летяги, а мы с Джейни топали вперед, как будто шли купаться или по какому другому делу. Малыш начал брыкаться, Джейни посмотрела на него, а потом накормила, и он снова утих.

Когда мы пришли к окраине города, мне хотелось, чтобы все держались поближе друг к другу, однако я боялся сказать лишнее слово. Однако за меня распорядился Малыш. Близнецы вернулись к нам, Джейни отдала им их одежонку, и они потопали ножками, как две зайки. Уж и не знаю, как Малышу удалось этого добиться: ходить пеш-

ком они терпеть не могли.

На нас никто не обратил внимания, если не считать одного типа, с которым мы столкнулись на улице уже около дома мисс Кью. Он буквально остолбенел и принялся рассматривать нас, так что Джейни посмотрела на него и нахлобучила его шляпу, наверно, до подбородка, так что ему пришлось потрудиться, чтобы вновь водрузить ее на макушку.

Когда мы добрались до дома, я заметил, что кто-то, знаете ли, уже отмыл добела испачканную мной дверь. Одной рукой я придерживал Малыша за руку, другой придерживал его на своей шее за лодыжку, так что стучать снова пришлось ногой, оставив на белой поверхности новую грязь.

— Сейчас нам откроет женщина по имени Мириам. Если она начнет истерику, скажи, чтобы убиралась к черту.

Дверь открылась, появилась Мириам. Едва успев взглянуть на нас, она отпрянула футов на шесть. Все мы ввалились в дом. Тут Мириам очнулась и завопила:

— Мисс Кью! Мисс Кью!

— Иди ты к черту, — невозмутимо отозвалась Джейни, впервые за все время совместной жизни выполнив мою просьбу.

Мисс Кью спускалась по лестнице. Теперь на ней было новое платье, такое же дурацкое, как и прежнее, и с не меньшим количеством кружев. Она открыла рот, но звуков не последовало. Наконец она выдавила:

— Господи, милостивый и щедрый, сохрани нас!

Став рядышком, близнецы уставились на нее. Стараясь держаться подальше от нас, Мириам отступила к стене и бочком скользнула вдоль нее к двери, пока не получила возможности захлопнуть ее. После чего сказала:

— Мисс Кью, если это и есть те самые дети, которые будут жить здесь, то я увольняюсь.

Джейни прокомментировала:

— Ну и иди к черту.

Тут Бони присела на корточки на коврике. Неразборчиво квакнув, Мириам коршуном рванулась к ней и схватила за руку, намереваясь поднять. Бони немедленно исчезла, оставив после себя немудреную одежонку и непередаваемое выражение на лице Мириам. Бини по сему поводу ухмыльнулась до самых ушей и отчаянно замахала руками. Я посмотрел в ту сторону, куда она показывала, и действительно — голая Бони черной пташкой сидела на самом верху на пери-

лах лестницы.

Мисс Кью оглянулась, увидела ее и осела прямо на ступеньки. Мириам тоже повалилась на пол, словно подстреленная. Бини подобрала одежду Бони, прошла по ступенькам мимо мисс Кью и передала ее сестре. Бони оделась. Мисс Кью как бы перекатилась в сторону и посмотрела вверх. После чего обе сестрицы рука об руку спустились по лестнице и подошли ко мне. После чего стали рядышком и уставились на мисс Кью.

— Что с ней произошло? — спросила меня Джейни.

— Да вот случается такое время от времени.

— Пойдем-ка лучше домой.

— Нет, — возразил я.

Ухватившись за перила, мисс Кью поднялась на ноги и, держась, какое-то время постояла с закрытыми глазами. А потом разом взяла себя в руки, как бы став дюйма на четыре повыше. Подойдя к нам парадным шагом, она курлыкнула:

— Джерард, — как мне кажется, собираясь произнести нечто совсем другое. Однако, проявив должное самообладание, она указала пальцем и спросила: — А *это* что такое, скажи мне, ради бога? — ткнув при этом пальцем в меня.

Я сперва не понял и огляделся — нет ли чего за

моей спиной.

— Где?

— Ну вот это! Это!

— А! — отвечал я. — Это и есть Малыш.

Я спустил его с плеч и вытянул руки вперед, чтобы она могла его получше разглядеть. С каким-то неистовым стоном она метнулась вперед и отобрала у меня младенца. Оглядела, держа на вытянутых руках, назвала бедняжкой и скорей пристроила в подушки, что лежали на длинной скамье под разноцветными стекляшками окон. Нагнувшись к нему, она прижала костяшки пальцев ко рту и снова застонала. А потом повернулась ко мне:

— И давно он такой?

Я поглядел на Джейни, она на меня.

— Сколько я его помню, другим он не был.

Вроде бы кашлянув, она подбежала к Мириам, кулем валявшейся на полу. Пару раз похлопала ей по щекам. Наконец Мириам села и оглядела всех нас, закрыла глаза, поежилась и каким-то образом поднялась на ноги.

— Возьми себя в руки, — прошипела мисс Кью сквозь зубы. — Принеси таз с горячей водой и мыло. Мочалку и полотенце. Живо! — приказала она Мириам, подтолкнув ее. Та пошатнулась,

ухватилась за стенку и выбежала из прихожей.

Мисс Кью вернулась к Малышу и повисла над ним, стянув в ниточку рот.

— Да оставьте вы его, — сказал я. — Он-то в порядке. Это мы голодны.

Она метнула на меня оскорбленный взгляд.

— Не смей так говорить со мной!

— Вот что, — проговорил я, — ситуация эта нам нравится не больше, чем вам. Если бы Дин не приказал нам, мы сюда никогда бы не пришли. А вообще мы и без вас неплохо обходились.

Мисс Кью посмотрела на нас по очереди, а потом достала свой смешной маленький платочек и прижала ко рту.

— Вот видишь, — обратился я к Джейни. — Ей все время становится плохо.

— Хо-хо, — поддержала меня Бони. Мисс Кью долго на нее глядела.

— Джерард, — сказала она наконец сдавленным голосом. — Я-то думала, что девочки — твои сестры.

— Ну и?

Она поглядела на меня, как на полного дурака.

— Разве могут крохотные чернушки быть сестрами белому мальчику, Джерард?

– *Могут*, — ответила Джейни.

Мисс Кью заходила взад и вперед — точнее, заметалась.

— Нам предстоит очень многое сделать, — пробормотала она сама себе.

Вернулась Мириам с большой овальной лоханью, полотенцами и всем прочим припасом. Она опустила лохань на скамью, и мисс Кью локтем попробовала воду. Потом взяла Малыша и окунула в лохань. Тот начал брыкаться.

Я шагнул вперед и сказал:

— Подождите минутку. Подождите. Разве вы не видите, что он недоволен?

Мне ответила Джейни:

— Джерри, заткнись. Малыш говорит, что все в порядке.

— В каком порядке? Она же его утопит!

Взбив мыльную пену, мисс Кью окутала ею Малыша, дважды окунула его, вымыла ему голову, опять окунула и принялась душить огромным полотенцем. Мириам только смотрела на то, как мисс Кью соорудила для него из посудного полотенца какое-то подобие штанишек. И когда она закончила свое дело, Малыша было не узнать. К этому времени мисс Кью вполне совладала с собой. Она напряженно дышала, рот опять стянулся в ниточку.

— Возьмите бедняжку, — велела она Мириам, — и положите…

Но Мириам отодвинулась.

— Извиняюсь, мисс Кью, но я намерена уволиться, и мне нет до него дела.

К мисс Кью вернулась ее гусиная интонация.

— Вы не можете бросить меня в такой ситуации! Эти дети нуждаются в помощи. Разве вы сами этого не понимаете?

Мириам окинула взглядом нас с Джейни. Она дрожала.

— Вы не в себе, мисс Алисия… они же не просто грязные, они ненормальные!

— Они запущенные, Мириам, ими никто не занимался. Если бы нами с тобой никто не занимался, наверное, мы были бы ничуть не лучше. А тебе, Джерард, придется научиться правильно говорить.

— Что?

— Если вы, дети, собираетесь жить здесь, вам придется очень сильно измениться. Вы не сможете оставаться под этой крышей такими, какими были до сих пор. Вы понимаете это?

— Конечно. Дин велел нам слушаться вас, жить так, чтобы вы были счастливы.

— Вы будете делать то, что я скажу?

— Разве не это я только что сказал, как по-вашему?

— Для начала, Джерард, тебе придется научиться говорить со мной подобающим тоном. Ну а теперь, молодой человек, если я прикажу вам подчиняться всем распоряжениям Мириам, вы послушаетесь меня?

— Что будем делать? — спросил я у Джейни.

— Спрошу Малыша. — Джейни глянула на него, тот засучил руками и пустил пузыри. — О'кей, — перевела она.

— Джерард, я задала тебе вопрос, — настаивала мисс Кью.

— Чего зазря кипятиться, — примирительно сказал я. — Нам ведь тоже надо разобраться, не так ли? Да, мы согласны, если вы этого хотите. Может быть, выслушаем и Мириам?

Мисс Кью повернулась к Мириам:

— Что скажете?

Мириам поглядела на мисс Кью, на нас, в раздумье покачала головой. Потом протянула руки Бони и Бини.

Они подошли к ней. Взяли за обе ладони. Улыбаясь, поглядели вверх. Наверняка задумали какую-то проказу: вид у обеих, должен признаться, был весьма лукавый, однако выглядели они,

надо полагать, очень мило. Рот Мириам дернулся и, как мне показалось, на секунду принял человеческое выражение.

— Хорошо, мисс Кью, — ответила она.

Тогда мисс Кью подошла к ней, вручила младенца, и служанка последовала наверх. Следом за ней мисс Кью отправила наверх всех остальных.

Так они взялись за нас и целых три года не давали передохнуть…

— Это был сущий ад, — пояснил я Стерну.

— Они должны были сделать свое дело.

— Да, наверно. Но и мы тоже. Словом, мы намеревались в точности исполнить обещание, которое дали Дину. Ничто на земле не было способно воспрепятствовать нам. Мы были обязаны и должны выполнять каждую мелочь, которую требовала от нас мисс Кью. Однако они с Мариам как будто бы этого не понимали. Наверно, они считали, что мы должны проделать весь путь до последнего дюйма. Все, что им надо было сделать, — это заставить нас понять, что им от нас нужно, и мы исполняли это. Ну, к примеру, она запретила мне залезать к Джейни в постель. Мисс Кью устраивала из этого чистый переполох. Судя по ее словам, можно было подумать, что я украл драгоценности короны.

— Но когда звучало что-то вроде: «ведите себя, как юная леди или как маленький джентльмен» — это же просто пустые слова! И таким было каждое второе из тех ее распоряжений. Или скажет, к примеру, «ахах» или «как ты выражаешься!». Я долго-долго не мог понять, какого черта ей нужно. И наконец спросил прямо в лоб. Но вы меня понимаете?

— Понимаю, — отвечал Стерн. — Ну а потом полегче стало?

— Настоящие неприятности приключились только два раза. Однажды с близнецами, а другой раз с Малышом. Но последняя была уж совершенно никуда.

— И что же произошло?

— С близнецами? Ну, когда мы провели у нее около недели или чуть более того, то начали замечать какой-то душок. Джейни и я то есть. Мы начали замечать, что почти не видим Бони и Бини… словно бы дом разделен на две части — одну для мисс Кью и нас с Джейни, а другую для Мириам и близнецов. Наверно, мы заметили бы это еще раньше, если бы не эта сумятица первых дней…новая одежда, требование обязательно спать по ночам и все прочее. Но возникла такая вот штука, всех нас выставляют играть на

боковой двор, а потом настает время ленча, и близнецы отправляются есть с Мириам, а мы едим с мисс Кью, тогда Джейни и спросила:

— А почему близнецы не едят с нами?

— Мириам заботится о них, моя дорогая, — отвечает ей мисс Кью.

Джейни посмотрела на нее вот такими глазами.

— Я это знаю. Пусть они едят с нами, и я позабочусь о них.

Рот мисс Кью опять выпрямился в ниточку, и она сказала:

— Джейн, это просто маленькие цветные девчонки. Ешь спокойно.

Однако эти слова ничего не объяснили ни мне, ни Джейни, и я сказал:

— Я хочу, чтобы они ели с нами. Дин велел нам держаться вместе.

— Но вы же и *держитесь* вместе, — говорит тогда она, то есть мисс Кью. — Все мы живем в одном доме, едим одно и то же. Давайте не будем развивать эту тему дальше.

Я посмотрел на Джейни. Она на меня, после чего сказала:

— Но почему нам нельзя жить и есть вместе, прямо здесь?

Мисс Кью положила вилку и жестко так посмотрела на нас.

— Я все уже объяснила вам, и сказала, что никаких дальнейших обсуждений не будет.

Ну вот еще новости, подумал я, запрокинул голову и завопил: — Бони! Бини!

И они сразу — *бинг* — оказались в столовой.

Тут и началось. Мисс Кью немедленно приказала им уйти, они уходить не хотели, явилась запыхавшаяся Мириам с их одеждой, стала их ловить, но, конечно же, не поймала, после чего мисс Кью начала кудахтать на всех по-гусиному, и на меня в том числе. Она заявила, что это уж слишком. Следующую неделю ей жилось не просто, но и нам тоже. Так что мисс Кью приказала нам убираться восвояси.

Я пошел за Малышом, забрал его и вышел из дома, Джейни и близнецы присоединились ко мне. Мисс Кью дождалась того момента, когда за нами захлопнулась дверь, после чего бросилась вслед за нами, обогнала и стала передо мной, заставив меня остановиться. Так что остановились и все остальные.

— Так вот как вы исполняете пожелания Дина? — спросила она.

И я сказал ей: так. Она ответила, что, по ее

мнению, Дин хотел, чтобы мы оставались у нее. И я сказал:

— Да, но более того он хотел, чтобы мы держались вместе.

Тут она сказала, мол, возвращайтесь, нам надо поговорить. Джейни спросила у Малыша, что он думает по такому поводу. И Малыш сказал ей о'кей, так что все мы вернулись. После чего пришли к компромиссу. Больше мы не обедали в столовой. Сбоку было еще такое крыльцо, что-то вроде веранды с застекленными окнами, откуда одна дверь шла на кухню, а другая в столовую, где все мы и ели, а мисс Кью обедала в одиночестве. Однако из всего этого дурацкого скандала получилась забавная штука.

— А именно? — спросил меня Стерн.

Я усмехнулся.

— Нас развеселила Мириам. Внешне она относилась к нам точно так же, как и всегда, однако вышло, что она стала совать нам между завтраком и обедом всякие печеньки. Знаете ли, мне пришлось потратить не один год на то, чтобы понять причину. Я это серьезно. Судя по тому, что мне удалось узнать о людях, существуют две армии, сражающиеся по поводу расы. Одна борется за то, чтобы расы держались порознь, другая,

наоборот, за то, чтобы все были вместе. Только не понимаю, почему обе партии так озабочены этим вопросом. Почему нельзя просто забыть его?

— Они не могут этого сделать. Понимаешь ли, Джерри, людям всегда необходимо видеть в себе что-то высшее. Ты, Дин и ребята были чрезвычайно близки друг с другом. Разве вам иногда не казалось, что вы в чем-то лучше всех остальных людей?

— Лучше? Но в чем мы могли оказаться лучше других?

— Если не лучше, то, должно быть, не такими, как все.

— Что ж, наверно, действительно так, однако мы не думали об этом. Мы были непохожими, это да, но чтобы лучшими… точно нет.

— Вы — случай особый, — проговорил Стерн. — Но теперь продолжай, расскажи мне о другой вашей беде, о том, что у вас вышло с Малышом.

— Значит, так. Ну это случилось через пару месяцев после того, как мы перебрались к мисс Кью. Все уже вроде бы начинало улаживаться. Мы уже усвоили все эти «да, мэм, нет, мэм», и она начала донимать нас учением — каждый день по утрам, пять дней в неделю. Джейни давно уже перестала заботиться о Малыше, а близнята

шастали где хотели. Вот была забава! Они то и дело перепрыгивали с места на место, прямо перед глазами мисс Кью, а она словно бы не замечала этого. Только все время расстраивалась, что они то и дело оказывались голышом. Потом они прекратили это, и ей оставалось только радоваться. Было чему: она ведь давно никого не видела — целые годы. Даже счетчики вывела наружу, чтобы никто не входил в дом. А с нами начала оживать. Подумать только, скинула свои старомодные тряпки и сделалась похожей на женщину. Иногда даже ела с нами.

И вот однажды я проснулся со странным чувством. Словно бы у меня что-то украли, пока я спал. Через окошко я перелез по карнизу в комнату Джейни, чего мне делать не разрешалось, и разбудил ее. До сих пор помню ее глаза. Сперва такие щелочки со сна, а потом хлоп — и глазища. Она сразу поняла, в чем дело.

— Нет Малыша!

Тут нам стало не до того — спят в доме или нет. Из ее комнаты мы бросились в дальний конец коридора, где в крошечном закутке обитал Малыш. Не поверишь! Хорошенькая колыбель, белый шкаф с выдвижными ящиками, погремушки и всякая чепуха — все исчезло. Вместо них водво-

рился письменный стол. Ну как если бы Малыша не было там вообще.

Мы не перемолвились и словом. Просто развернулись — и в спальню мисс Кью. Я был там только раз, а Джейни немногим чаще. Но можно нам входить, нельзя ли — теперь было безразлично. Мисс Кью еще лежала в постели. Волосы ее были заплетены в косу. Она проснулась, едва мы открыли дверь, и принялась отодвигаться от нас, пока вплотную не уткнулась в спинку кровати. И тогда холодно так поглядела на нас.

— Что это все значит? — пожелала она узнать.

— Где Малыш?! — завопил я.

— Джерард, — говорит она тогда, — кричать нет необходимости.

Даже Джейни, всегда такая спокойная, сказала совершенно уж грозным тоном: «Отвечайте нам, где он, мисс Кью». От такого тона я и сам бы в штаны напустил.

И тут вдруг мисс Кью забывает про всякую каменную невозмутимость и протягивает нам руки.

— Дети, — говорит она, — я прошу прощения. В самом деле, прошу. Но, по-моему, я сделала так, как надо. Я отослала Малыша жить с подобными себе. Здесь мы не можем сделать так, чтобы ему

было хорошо. Вы же понимаете это.

Джейни ответила:

— Он никогда не говорил нам, что ему плохо.

Мисс Кью выдавила короткий смешок.

— Если бы только он, бедняжка, умел говорить.

— Лучше верните-ка его назад, — сказал я, — вы не понимаете, что делаете. Я же предупреждал, что нас нельзя разлучать.

Она уже начала раздражаться, но еще сдерживалась.

— Милые мои, я попробую объяснить вам. И ты, и Джейни, и близнецы — нормальные дети. Вы вырастете, станете взрослыми. Только бедный Малыш — иной. Он не будет расти, не сможет ходить и играть, как прочие дети.

— Это неважно, — отвечала Джейни, — вы не имели права отсылать его.

Я с ней согласился:

— Ага, лучше верните его назад, да побыстрее.

Тут уж взбрыкнула она.

— Среди всего, чему я вас учила, есть и такое — не командовать старшими. А теперь бегите, одевайтесь к завтраку — и забудем об этом.

Тут я сказал ей самым благородным образом:

— Вы собираетесь распорядиться, чтобы его

немедленно вернули сюда. И отдать это распоряжение вы собираетесь без отлагательства. Иначе…

После этого она выскочила из кровати и выставила нас из комнаты.

Я ненадолго умолк, и Стерн спросил:

— И что было дальше?

— Ну, — ответил я с коротким смешком, — она привезла его обратно. Если хорошенько подумать, забавная ситуация. Три месяца она нами командовала, распоряжалась, так сказать, как петух в курятнике, и тут вдруг мы устанавливаем свои правила. Мы делали что могли, чтобы соответствовать ее представлениям о том, как надо жить, но тут, видит бог, она зашла чересчур далеко. Свое она получила с того мгновения, как захлопнула за нами дверь своей спальни. У нее был под кроватью большой фарфоровый горшок, так вот, он вдруг взлетел в воздух и врезался прямо в зеркало на ее туалетном столике. А потом выдвинулся ящик из ее комода, оттуда вылетела перчатка и шлепнула ее по лицу.

Она попыталась спастись в кровати, но едва забралась туда, как на постель обрушился целый пласт штукатурки. Потом в ее маленькой ванной комнате сорвало кран, и как только раковина

переполнилась, все ее вещи попадали со своих крючков. Тут она решила выскочить в коридор, но дверь заклинило, а когда она изо всех сил потянула за ручку, дверь перестала сопротивляться, и она упала на пол. Тут мы вошли и укоризненно посмотрели на нее. Она рыдала. До этого мгновения я даже не представлял себе, что она на это способна.

— Так вы вернете назад Малыша?

Она все лежала и рыдала. А потом посмотрела на нас, такая жалкая. Мы помогли ей подняться и сесть в кресло. Она посмотрела сперва на нас, потом на зеркало, потом на изуродованный потолок и только потом прошептала:

— Что случилось, что случилось?

— Вы увезли отсюда Малыша, вот что, — проговорил я.

Тут она подскочила с места и объявила низким таким, полным настоящего испуга, но сильным голосом:

— Что-то упало на дом. Наверное, самолет. Или же случилось землетрясение. О Малыше мы поговорим после завтрака.

Я сказал:

— Еще порцию, Джейни.

Тут ей на голову и грудь плеснуло водой, от-

чего ночная рубашка облепила все ее тело, что, кажется, расстроило ее больше всего. Косы сами собой поползли вверх, заставив ее в конце концов вытянуться в струнку. Она собралась завопить, но пудра, брызнувшая из баночки на туалетном столике, залепила ей рот. Она принялась выковыривать ее.

— Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете? — залилась она наконец слезами.

Тут Джейни так посмотрела на нее, заложила руки за спину и с таким достоинством ответила:

— Ничего. Мы не делали ничего.

А я добавил:

— Пока не начинали. Так будет Малыш дома или нет?

Тут она как закричит:

— Прекратите! Прекратите немедленно! Прекратите говорить об этом монголоидном идиоте! От него нет никакой радости! Даже ему самому.

Тогда я сказал Джейни:

— Тащи крыс.

Немедленно за плинтусом что-то прошуршало. Мисс Кью прикрыла лицо обеими ладонями и осела в кресле.

— Только не крысы, — проговорила она. — В этом доме никогда не было крыс.

Тут послышался красноречивый писк, и она разлетелась на части. Случалось ли вам видеть человека в подобном состоянии?

— Да, — коротко ответил Стерн.

— Я был тогда совсем вне себя. Полностью. Совершенно, — продолжил я, — но даже для меня этого было чересчур много. Все-таки она не имела права отсылать Малыша из дома. Потребовалась пара часов на то, чтобы она привела себя в состояние, пригодное для того, чтобы позвонить по телефону, однако Малыша мы получили назад перед самым ленчем.

Я усмехнулся.

— Что здесь смешного?

— О, что мисс Кью так никогда и не сумела в точности вспомнить, что с ней произошло. Недели через три она при мне разговаривала с Мириам об этом событии. По ее мнению, дом вдруг осел. Она сказала, что самым удачным образом отправила перед этим Малыша на медицинское обследование — а то беднягу могло бы и пристукнуть чем-нибудь. Она самым неподдельным образом была уверена в этом.

— Вполне возможно. Такое нередко случается. Мы никогда не верим в то, во что не хотим верить.

— Ну а насколько вы верите мне? — вдруг спросил я.

— Я уже говорил тебе — это неважно. Моя работа состоит не в том, чтобы верить или не верить.

— Вы и меня не спросили, насколько я сам всему этому верю.

— Мне это не нужно. Ты сам должен назначить себе меру.

— А вы *хороший* психотерапевт?

— Думаю, да, — сказал он. — Так кого же ты там убил?

Вопросом этим он застиг меня абсолютно врасплох, и я выпалил:

— Мисс Кью. — А потом начал браниться и ругаться. — Я не собирался рассказывать вам об этом.

— Не беспокойся, — ответил он. — А почему ты это сделал?

— Вот за этим я и пришел к вам, чтобы узнать.

— Значит, ты и в самом деле ненавидел ее.

Я залился слезами. В пятнадцать-то лет!

Он дал мне выплакаться. Сначала были хлюпанья и всхлипывания, потом прорезались рыдания и стоны, от которых болело горло. Хлынули сопли, я даже не подозревал, сколько их может быть. А за ними полились слова.

— А вы знаете, откуда я? Первое мое воспоминание — удар по рту. Вот она, перед глазами, — приближающаяся ладонь. Огромная… больше моей головы. Чтоб не орал, значит. И с тех пор я боюсь кричать. А тогда вопил, потому что проголодался. Или холодно стало. А может, и то и другое сразу. После помню огромную спальню и еще: кто больше украл, тому больше досталось. Плохо будешь себя вести — побьют, хорошо — получишь конфетку. Самая большая награда — это когда тебя оставляют в покое. Попробуй-ка так жить. Попробуй жить, когда самое дорогое, самое желанное в этом проклятом мире — чтобы тебя только оставили в покое!

И после всего — чудо с Дином и его ребятишками. Удивительное это дело — чувствовать себя дома. Я и не знал такого. Две тусклые лампы, угольки очага, но как они освещают мир! И в них — твоя жизнь.

И вдруг все переменилось: чистая одежда, еда — вареная и жареная. Каждый день пять часов школы, всякие Колумбы да короли Артуры и учебник по гражданскому законодательству двадцать пятого года с разъяснениями по части септика. А сверху над всем — квадратная ледяная плита, и ты видишь, как она тает, как округля-

ются углы, и понимаешь, что это из-за вас, мисс Кью… Черт, она слишком хорошо владела собой, чтобы сюсюкать над нами. Однако чувство это было рядом. Дин заботился о нас просто потому, что он жил так и не мог иначе. Мисс Кью тоже заботилась, но не потому, что не могла по-другому. Просто она решила это сделать.

У нее были странные представления о «правильном» и «неправильном», и она добросовестно пользовалась ими для нашего воспитания. Когда чего-нибудь не понимала, то считала, что в этом ее вина… но сколько же всего она не понимала и не в силах была понять. Однако считала: выходит хорошо — наш успех, плохо — ее ошибка. Ну а на последний год… О боже.

— Что?

— Значит, я убил ее, слушайте, — начал я, понимая, что придется говорить побыстрее. Не то чтобы нужно было торопиться, просто хотелось поскорее отделаться. — Я расскажу все, что мне об этом известно. Это было за день до того, как я убил ее. Я проснулся утром, накрахмаленные простыни похрустывали подо мной, солнце пробивалось сквозь белые занавески и яркие красно-синие шторы. Рядом стоял шкаф с моей одеждой, моей, понимаете ли, а ведь прежде у меня никогда

не было ничего своего… Внизу Мириам, гремя посудой, готовила завтрак. И близнецы смеялись. Смеялись с *ней*, понимаешь, а не друг с другом, как прежде.

В соседней комнате, слышалось, уже расхаживала Джейни и что-то распевала… И я уже знал, что когда мы увидимся, лицо ее будет сиять изнутри и снаружи. Я встаю. Из крана льется вода, горячая, настоящая, зубная паста щиплет язык. Одежда как раз по мне. Я спускаюсь. Все уже собрались, и я рад их видеть, а они меня, и только мы рассаживаемся вокруг стола, спускается мисс Кью, и все радостно приветствуют ее.

Так и продолжается утро. Потом начинается школа, здесь же, в большой гостиной. Близнецы, высунув языки, вырисовывают буквы, вместо того чтобы писать их. И Джейни, когда наступает для этого час, рисует картину, настоящую: корову под деревом, а рядом желтый забор, уходящий неведомо куда. Я плутаю меж двух частей квадратного уравнения, мисс Кью наклоняется, чтобы помочь, и я чувствую запах духов, которыми пахнет ее одежда, поднимаю голову, чтобы принюхаться, а вдалеке на кухне стучат кастрюли.

Так же проходит день, школа, занятия, а потом — со смехом во двор. Близнецы ловят друг

друга и удирают при этом на двух ногах. Джейни дорисовывает листья, чтобы мисс Кью сказала, что все именно так, как должно быть. Малыш удостоился большого манежа, но и там не думает ползать, просто следит за всеми, пускает пузыри, время от времени его набивают пищей и чистят, так что он сверкает, как чайник.

Ну а потом вечер, ужин, а после мисс Кью читает нам на разные голоса, как того требует повествование… только иногда начинает читать быстрее, если что-то смутит ее…

Теперь ты понимаешь, что мне оставалось только убить ее. Вот и все.

— Но почему же — ты так и не объяснил этого, — проговорил Стерн.

— Ты что — дурак? — завопил я.

Стерн промолчал. Я повернулся на живот и поглядел на него, подпирая подбородок руками. Трудно было понять, что он чувствует, но мне показалось, что он озадачен.

— Я же объяснил причину.

— Не понял.

И я вдруг понимаю, что слишком многого хочу от него, и медленно произношу:

— Все мы просыпались в одно и то же время. И все время выполняли чужие желания. Целыми

днями мы жили не так, как хотели, думали чужие мысли, говорили чужими словами. Джейни рисовала чужие картинки. А Малыш молчал. И мы были счастливы. Ну понял теперь?

— Нет еще.

— О боже! — Я подумал немного. — Мы не слидинялись.

— Слидинялись? Ах да. Но после смерти Дина этого ведь не было.

— Но из-за другого. Словно в машине кончился бензин, но сама машина была цела. Просто ждала. А когда нами занялась мисс Кью, машину разобрали на части. Понял?

Теперь уже ему пришлось задуматься. Наконец он сказал:

— Иногда рассудок заставляет нас делать разные забавные вещи. Причем некоторые полностью безумны, смешны, ложны. Но краеугольный камень всей нашей работы таков: все, что делает человек, подчиняется строгой и непреклонной логике. Зачерпни поглубже — и найдешь в нашей науке причины и следствия, как и во всякой другой. Заметь, я говорю о «логике» — не об «истине», не о «справедливости», не о «правоте» или чем-то еще в том же роде. Логика и правда чрезвычайно различны между собой,

однако зачастую они кажутся одним и тем же для ума, следующего собственной логике.

И когда разум бывает обращен внутрь себя, когда он противоречит требованиям поверхностной мысли, человек ощущает смятение. Я вижу, что ты имеешь в виду: для того, чтобы сохранить или возобновить ту особую связь, что объединяла вас, тебе необходимо было устранить мисс Кью. Но логики не улавливаю. Не понимаю, почему осуществление этого «слидинения» стоило гибели обретенного вами покоя, раз ты сам признаешь, что вел приятную жизнь.

С отчаянием в голосе я проговорил:

— Может, и не стоило.

Стерн наклонился вперед и указал на меня черешком трубки.

— Нет, стоило, раз ты это сделал. Потом, конечно, дело приобрело другой оборот. Но в тот миг тобою руководило именно это побуждение: устранить мисс Кью, чтобы возобновить вашу особую близость. Но вот причин этого импульса я не понимаю, да и ты тоже.

— А как мы можем докопаться до этого?

— Это как раз и есть та самая «неприятная вещь», но если ты хочешь…

Я лег.

— Готов.

— Хорошо. Теперь скажи мне, что же произошло перед тем, как ты убил ее?

Я начал восстанавливать в памяти тот день, пытаясь припомнить вкус пищи, звук голосов. Одно и то же ощущение уходило и приходило вновь — крахмальная жесткость простыни. Я постарался прогнать его — ведь так было с утра, но оно вернулось, и я понял, что оно было уже под конец.

Я сказал:

— Я ведь говорил вам — мы занимались чужим делом вместо своего собственного, а Малыш молчал, и все были счастливы, поэтому я и убил мисс Кью. Я долго добирался до этой мысли, долго думал, прежде чем приступить к делу. Помнится, я тогда лежал в постели и думал — целых четыре часа. А потом встал. Было темно и тихо. Я вышел в коридор, вошел в комнату мисс Кью и убил ее.

— Как?

— В том-то и дело! — заорал я изо всех сил. А потом успокоился. — Там было ужасно темно… до сих пор не знаю, как я это сделал. И не хочу знать. Она ведь любила нас. Я уверен. Но мне пришлось убить ее.

— Хорошо, хорошо, — отозвался Стерн. — И

нечего теперь поднимать такой шум. Ты ведь…

— Что?

— Ты ведь довольно силен для своего возраста, Джерард.

— Есть такое дело.

— Итак, — проговорил он.

— Я до сих пор не могу понять той логики, о которой вы говорите. — И я произнес, сопровождая каждое слово ударом кулака по кушетке: — Почему — мне — пришлось — идти — к — ней — и — делать — это?

— Прекрати, — распорядился он. — Тебе самому больно.

— По справедливости, — ответил я.

— Вот как? — проговорил Стерн.

Я поднялся, подошел к столу и налил себе воды.

— Что мне теперь делать?

— Скажи, а что ты делал после того, как убил ее… пока не пришел ко мне?

— Не так уж много — все случилось только вчера. Я взял ее чековую книжку. И, словно в столбняке, вернулся к себе в комнату. Потом оделся, но не стал обуваться. Ботинки я держал в руках. А потом бродил, пытаясь все обдумать, и направился в банк к открытию. Снял одинна-

дцать сотен. Решил посоветоваться с психиатром и целый день выбирал, к кому обратиться. Вот и все.

— А деньги по чеку получил без проблем?

— Я всегда могу заставить человека сделать именно то, что мне нужно.

Он что-то удивленно буркнул.

— Я знаю, о чем ты подумал. Но мисс Кью я заставить не сумел.

— Так, — согласился он.

— Если бы я это сделал, — проговорил я, — она перестала бы быть собой, перестала бы быть мисс Кью. Ну а банкир… я только велел ему быть банкиром. — Я поглядел на него и вдруг понял, зачем он все время возился с трубкой, — чтобы опущенные веки скрыли его глаза, и я не мог бы увидеть их.

— Ты убил ее, — проговорил он, и я понял, что он меняет тему, — и погубил нечто важное для себя. Дорогое, но все-таки менее ценное, чем возможность восстановить то, что ты испытывал в компании этих детей. Но до конца ты еще не выстроил свою систему ценностей. — Он поднял глаза: — Правильно я тебя понял?

— Более или менее.

— А ты знаешь истинную причину, которая

заставляет людей убивать? — Я молчал, поэтому он сам и ответил: — Чтобы выжить. Чтобы спасти себя или нечто, отождествляемое с собой. Но в твоем случае закон не срабатывает — с точки зрения выживания мисс Кью была для тебя и всей группы куда ценнее, чем то, другое.

— Тогда выходит, что у меня просто не было причин убивать ее.

— Были, раз ты убил. Просто мы еще не добрались до них. То есть причину мы знаем, только непонятно, почему она оказалась настолько важной, решающей. Ответ таится в тебе.

— Где же? — Он встал и начал расхаживать по комнате. — Имеем вполне последовательное жизнеописание. Фантазии в нем, конечно, перемешаны с фактами, о некоторых областях нет подробной информации, однако мы располагаем концом, началом и серединой. Не могу сказать с полной определенностью — однако, скорее всего, ответ может оказаться на мостике, который ты недавно не захотел переходить. Не забыл?

Я вспомнил и возразил:

— Почему там? Разве нельзя попробовать что-нибудь еще?

Он невозмутимо заметил:

— Потому что ты сам и признался.

— Не стоит придавать такое значение пустякам, — отвечал я. Этот тип время от времени начинал раздражать меня. — Это смущает меня. Не знаю сам почему.

— Там что-то скрыто, и ты боишься, что это выйдет наружу, и оно сопротивляется. То, что стремится остаться скрытым, скорее всего, именно то, что нам и нужно. Причина твоего беспокойства сокрыта, так ведь?

— Ну да, — пробормотал я, вновь ощущая ту дурноту и слабость и заново отгоняя их. После чего понял, что больше не потерплю никаких препятствий.

— Словом, продолжим. — И я лег.

Он позволил мне хорошенько изучить потолок, а потом произнес:

— Ты в библиотеке. Ты только что встретился с мисс Кью. Она расспрашивает тебя, а ты рассказываешь о детях. — Я лежал очень тихо. Однако ничего не происходило. Впрочем, нет. В теле моем возникла напряженность, распространявшаяся от самых костей, становившаяся сильней и сильнее. Наконец терпеть стало уже невмочь, однако ничего не произошло.

Потом я услышал, как он встал, подошел к столу. Покопался в нем, раздался щелчок, а за ним

последовал шелест. И вдруг я услышал собственный голос:

— Есть еще Джейни, ей одиннадцать, как и мне. Бини и Бони по восемь, они близнецы. Еще Малыш. Ему — три. — И звук собственного вопля…

А потом пустота.

Я вывалился из темноты, размахивая кулаками. Сильные руки ухватили мои кисти. Они не пытались удержать меня на месте, только ограничивали движение. Я открыл глаза. Было мокро. Термос лежал на боку. Стерн согнулся надо мной, не выпуская моих рук. Я успокоился.

— Что случилось?

Он отпустил меня и медленно выпрямился.

— Боже, — сказал он, — какой разряд!

Я взялся за голову и застонал. Он бросил мне ручное полотенце, и я воспользовался им.

— Что это было?

— Я все время записывал твои слова на магнитную ленту, — пояснил он, — и раз ты никак не мог вспомнить, я попытался подтолкнуть тебя, воспользовавшись твоим же собственным голосом. Иногда этот прием творит чудеса.

— Чудо состоялось, — проворчал я, — только во мне все пробки, кажется, перегорели.

— По сути дела, да. Ты колебался на границе

нежелательного воспоминания и предпочел потерять сознание, лишь бы не входить туда.

— Чем же вы довольны в таком случае?

— Осталась последняя траншея, — ответил он. — Мы уже у цели. Попробуем еще разок.

— Хватит. А то в ней и помру.

— Отнюдь. Ведь этот эпизод долго жил в твоем подсознании, и ничего, ты оставался жив.

— А на этот раз останусь?

— В любом случае не умрешь.

— Вы точно знаете, что если мы извлечем это наружу, оно не убьет меня?

— Сам увидишь.

Я поглядел на него сбоку, искоса и вдруг понял — он знает, что делает.

Врач негромким голосом пояснил:

— Теперь ты узнал о себе больше, чем прежде. Обратись к интуиции. Сам почувствуешь, как пойдут дела. До конца можешь не идти, оставь резерв для защиты. И не беспокойся. Доверься мне. Если станет совсем худо, я помогу. А теперь расслабься. Гляди на потолок и помни о больших пальцах ног. Не гляди на них, гляди вверх. Пальцы, большие пальцы. Не шевели ими, постарайся ощутить каждый. А теперь начинай считать пальцы на ногах по одному, начиная от большого.

Один, два, три. Ощути этот третий палец, ощути его, почувствуй, как он расслабляется, расслабляется, расслабляется. А потом следующий за ним на обеих ступнях расслабляется. Расслабляется, потому что расслабились и все прочие пальцы, все расслабились…

— Что ты делаешь? — закричал я.

Он отвечал тем же шелковым голосом:

— Ты мне веришь, и пальцы твои тоже. Они расслабились, потому что верят мне. Ты…

— Ты пытаешься загипнотизировать меня. Я не согласен!

— Ты сам себя гипнотизируешь. Я просто направляю тебя на нужный путь. И никто не заставит тебя идти туда, куда ты не хочешь, но ты сам желаешь следовать в ту сторону, где твои пальцы расслабились, где…

И так далее. Где раскачивающийся золотой медальон на цепи, где яркий свет, где таинственные пассы? Я даже не видел Стерна. И не ощущал сонливости, о которой всегда говорили! Да, он знал, что сна у меня ни в одном глазу, и спать я не собираюсь. И я захотел стать пальцем. Расслабленным пальцем. Безмозглым, идущим, идущим, идущим одиннадцать раз, одиннадцать, мне одиннадцать.

Я раскололся надвое, и это меня нисколько не смущало. Одна часть следила за другой, возвращающейся в библиотеку, а мисс Кью наклонялась ко мне, шуршала подо мной газета на кресле, и я сидел в одном ботинке, шевеля расслабленными пальцами другой ноги… я только слегка удивлялся всему этому. Гипноз гипнозом, но я в полном сознании оставался в кабинете Стерна. Лежал на кушетке, а Стерн гудел за моей спиной, и я в любой момент мог перевалиться на живот и сесть, и выйти отсюда. Только я не хотел. Ну, если гипноз таков — я за него. Поработаем.

Там, на столе я мог видеть золотое тиснение на коже, и смогу ли я остаться возле этого стола с вами, мисс Кью…

…Бони и Бини по восемь, они близнецы. Еще Малыш. Ему три.

— Малышу — три, — повторила она.

Сперва надавило, раздвигая, лопнуло, и в муке блаженства потонула боль.

Это было внутри. Все свершилось в один миг, все.

Малышу — три. И моему малышу исполнилось бы сейчас три, только его не было никогда.

Дин, я открылась перед тобою. Открылась… или этого мало?

Его глаза. Эти колеса. Уверена, что они вращаются, однако никогда не могла поймать их в движении. Незримым мостом они связывали его мозг с моим. Знает ли он, чего мне все это стоит? Понимает ли? Не знает, не понимает, он опустошает меня, а я его наполняю. И он пьет, потом ждет, пока я наполнюсь, и вновь пьет, не замечая чаши.

Я увидела его, когда танцевала в лесу под солнцем и ветром. Я кружила, а он, замерев в тени, следил за мной. Я ненавидела его за это. Это был не мой лес. Не моя позолоченная лужайка в оправе из папоротника. И он, явившись сюда незваным, отнял у меня мой танец. Я ненавидела его за это. Он стоял, утопая по лодыжку в нежных влажных папоротниках, похожий на дерево, с ногами-корнями и в одежде цвета земли. Я остановилась тогда, он шевельнулся и превратился из дерева в мужчину, рослого, коренастого, с могучей мускулатурой. Грязное животное. Ненависть моя вдруг обратилась в страх, и я застыла.

Он знал, что сделал со мной, и не смущался. Не плясать мне больше: теперь я знаю, что у деревьев есть глаза, а лес полон высоких, широкоплечих, грязных животных-мужчин. Летние ночи, когда одежда душит тело, зимние ночи с

их бесценными благопристойностями, что окружают меня и заключают в себе. И не плясать мне более, не вспомнить о пляске, не ощутив заново того потрясения, которое я перенесла, когда он увидел меня. Как я его ненавидела! О, как я его ненавидела!

Мои одинокие пляски, единственная тайна этой мисс Кью, чопорной викторианки, старшей, чем выглядит, упустившей свое время, корректной и накрахмаленной, в полотне с кружевами — и абсолютно одинокой. Теперь я навсегда останусь такой, какой они говорят обо мне, во всем и всегда, всегда и вечно, потому что он украл у меня то единственное, что я посмела сохранить в тайне.

Он вышел на солнце и приблизился ко мне, чуть склонив набок лобастую голову. А я застыла на месте, мгновенно окоченев изнутри и снаружи, покрытая коркой гнева и слоем страха… до самой сердцевины. Рука моя замерла над головой, стан оставался изогнутым в пляске, и когда он остановился, я вздохнула, потому что не могла более не дышать. Он спросил:

— Ты читаешь книги?

Присутствие его было непереносимым, но я не могла шевельнуться. Он протянул ко мне

жесткую ладонь, взял за подбородок и повернул мое лицо вверх, чтобы я поглядела в его глаза. Я попыталась отодвинуться от него, однако лицо мое оставалось в его руке, хотя он не удерживал его, а только поднимал.

— Тебе придется почитать для меня кое-какие книги. У меня нет времени их искать.

Я спросила:

— Кто ты?

— Дин, — ответил он. — Будешь читать для меня книги?

— Нет. Пусти, пусти меня. — Он не держал меня.

— Какие еще книги? — вскрикнула я.

Он не выпускал из руки мой подбородок. И заставил меня поднять глаза чуть повыше. Он уронил руку, его глаза, его радужки готовы были закружиться.

— Откройся, — проговорил он, — и дай мне заглянуть внутрь.

Оказалось, что моя голова набита книгами, но он глядел на заглавия, потому что читать не умел. Его интересовало то, что я знала о них. И вдруг я ощутила себя ужасающе ничтожной, потому что знала лишь малую долю того, что ему было нужно.

— Что это? — резко спросил он.

Я поняла. Он выудил нечто из моей головы. Выудил и отыскал, а мне было невдомек, что я знаю это.

— Телекинез, — ответила я.

— А как это делается?

— Никто не знает, к тому же вообще не ясно, можно ли передвигать предметы усилием мысли.

— Это можно, — заверил он. — А вот это что?

— Телепортация. Почти то же самое. Когда силой мысли ты перемещаешь собственное тело.

— Да-да, вижу, — закивал он.

— Взаимопроникновение на молекулярном уровне. Телепатия и ясновидение. Я о них ничего не знаю. По-моему, все это просто глупости.

— Почитай об этом. Неважно, поймешь или нет. А это что?

В мозгу проступило, губы произнесли: *Гештальт*[4].

— Что это?

— Общность. Ну как лечение группы болезней

---

[4] Сноски: 4

Gestalt (*нем.*) — форма, образ, структура. Гештальтпсихология, одно из основных направлений довоенной европейской психологии, впервые выдвинула идею целостности психических образований, подчеркивая, что целое есть нечто большее, чем сумма составляющих его частей.

определенным общим лекарством. Или как ряд образов, совмещенных в одной фразе. Когда целое больше суммы частей.

— Почитай и об этом. Прочти все, что найдешь. Это в основном все, что тебе придется прочесть. Это важно.

Он отвернулся, и, когда глаза его отпустили мой взгляд, словно порвалась какая-то связь, я пошатнулась и упала на одно колено. А он развернулся и, не оглядываясь, пошел в лес. Я подобрала свои вещи и помчалась домой. Гнев владел мною — он разил меня, словно гроза. Страх владел мною — и гнал меня вперед ураганом. И я знала, что прочту эти книги, знала, что вернусь назад, знала уже — более не плясать мне.

И я читала книги и возвращалась. Иногда ежедневно, иногда через несколько дней. А он всегда ждал меня на лужайке, в тени дерева, и забирал все, что я успевала прочесть. Я терялась в догадках: каждый ли день он ходит туда или неизвестным образом узнает о моем приходе.

Он заставлял меня читать абсолютно чуждые мне книги: об эволюции, о социокультурной организации общества, о мифологии, еще больше о симбиозе. Наши разговоры нельзя было назвать разговорами; слух мой улавливал иногда только

его удивленное восклицание или короткое, полное интереса гудение.

Он вырывал из меня книги так, как обрывал бы ягоды с куста — горстями; от него пахло потом, землей и соками зелени, с которой соприкасалось в лесу его тяжелое тело.

Узнавал он что-то из этих книг или же нет, не составляло для него разницы. А потом настал день, когда он уселся рядом со мной и начал задавать вопросы.

— В какой книге может сыскаться такое? — И долго молчал в раздумье. — Ну, как сам термит не может есть древесину: этим занимаются микробы в его животе, а термиту достаются только объедки с их стола. Что это такое?

«Симбиоз, — вспомнила я, перебирая слова. Дин отодрал слова от содержания и отбросил в сторону. — Два вида жизни, нуждающиеся в сосуществовании».

— Ага. А есть такая книга насчет четырех-пяти видов? Чтобы они существовали как одно целое?

— Не знаю.

— А как тогда насчет этого? У тебя есть радиопередатчик и четыре-пять приемников, каждый из которых настроен на то, чтобы происходило что-то особенное: один копает, другой летает,

третий шумит, но так, чтобы они получали указания от кого-то одного. Каждый из них обладает собственной силой и собственным делом. И все они — сами по себе. Может ли существовать такая жизнь, если забыть про радио?

— Там, где части одного организма существуют отдельно? Не знаю, едва ли… если только ты не имеешь в виду общественные организации — группы, бригады рабочих, — получающие указания от одного босса.

Он немедленно возразил:

— Нет, не так. А чтобы они образовывали отдельное животное. — Он зачерпнул воздух ладонью.

— Ты имеешь в виду *гештальтную* форму жизни? Но это фантастика.

— И нет никаких книг на эту тему?

— Насколько я знаю — нет.

— Мне нужно разузнать об этом, — веско проговорил он. — Такая штука существует. И я хочу знать, не бывало ли такого прежде.

— Не понимаю, как может существовать такой организм.

— Одна часть добывает, другая рассчитывает, третья находит, четвертая говорит.

— Говорит? Но говорят только люди.

— Знаю, — ответил он, поднялся и удалился. Я искала и искала такую книгу, но не нашла ничего даже отдаленно похожего. Тогда я вернулась и сказала ему об этом. Долгое время он не шевелился — только глядел на темно-синюю линию гор на горизонте. А потом вонзил в меня свои вращающиеся зрачки и учинил обыск.

— Ты читаешь, но не думаешь, — проговорил он, снова устремляя взгляд на холмы. — Все это происходит с людьми, прямо у них под носом, но они ничего не замечают. Есть люди, читающие мысли. Есть люди, передвигающие предметы усилием мысли. Есть люди, которые могут переноситься сами собой. И есть такие, кто может рассчитать все что угодно, если только их попросить. Вот чего нет, так это личности, способной объединить всех воедино, — ну, как мозг распоряжается всеми частями тела, которые и сгибаются, и разгибаются, и ощущают жару, которые ходят и думают, и все прочее…

Как я, — вдруг закончил он. А потом утих надолго, так что я подумала, что он позабыл обо мне.

— Дин, — спросила я, — а что ты делаешь в лесу?

— Жду, — отвечал он, — я еще не закончен. — Поглядев мне в глаза, он раздраженно фырк-

нул. — Не в этом смысле «закончен». Я имею в виду — не завершен. Это как если червяка перерубить, он может срастись заново. Я нашел еще не все свои части. И потому не закончен. И я хочу книгу о том существе, которым я стану, когда завершусь. Получится самое сильное и быстрое тело, но не с той головой. Может быть, это потому, что я — один из первых. Как на той картинке пещерный человек…

— Неандерталец.

— Ага, подумай — вовсе не из смышленых. Просто первая попытка создать нечто новое. Я буду похож на него. Но, может быть, нужная воля найдется потом, когда я все устрою. Тогда получится что-то.

Удовлетворенно заворчав, он ушел.

Я искала, искала целыми днями, но все не могла найти то, что ему было нужно. Я разыскала журнал, где говорилось, что следующий шаг эволюции человека будет сделан не в физическом, а в психологическом направлении, но там ничего не было о том, что можно было бы назвать гештальт-организмом. Нашлось, правда, что-то о слизевиках, однако они скорее представляли собой скопление амеб, чем симбиоз.

С точки зрения моего ненаучного, лично не

заинтересованного ума не существовало ничего более похожего на его запрос, чем марширующий вместе оркестр, где каждый собственным способом и на собственном инструменте производит свою личную ноту, складывающуюся в особое музыкальное произведение. Однако ему было нужно нечто совсем другое.

И прохладным осенним утром я опять вернулась к нему. Он забрал то немногое, что крылось в моих глазах, и отвернулся с грубым словом, которое я не осмеливаюсь произнести.

— Ты не можешь найти, — сказал он, — не возвращайся.

Потом встал и подошел к растрепе-березке, прислонился к ее стволу, разглядывая мятущиеся под ветром тени. Думаю, он уже забыл обо мне. Даже подскочил, как перепуганный зверь, когда рядом с ним раздался мой голос. Должно быть, он полностью углубился в свои странные мысли, потому что не услышал моих шагов.

— Дин, не вини меня в этом. Я старалась найти.

Справившись с удивлением, он вновь обратил ко мне свои глаза.

— Винить? Я не знаю, о чем ты говоришь.

— Я подвела тебя, и ты сердишься.

Он смотрел на меня так долго, что мне стало неуютно.

— Не понимаю, о чем ты говоришь, — проговорил он.

А я не хотела, чтобы он отвернулся. Тогда он уйдет, уйдет и оставит меня, не вспомнив ни разу. Не из жестокости или коварства, как случается среди людей. Просто я была ему безразлична — словно для кошки красный тюльпан.

Я схватила его за руки выше локтей и тормошила — с тем же успехом можно было бы трясти фасад дома.

— Ты не можешь не знать! — закричала я. — Ты знаешь все, что я прочла. И ты должен знать все мои мысли!

Он покачал головой.

— Я же человек, я женщина, — бесилась я. — А ты использовал меня, использовал и ничего не дал взамен. Из-за тебя я поломала все свои привычки: читала все дни напролет и возвращалась к тебе, будь то дождь, снег или воскресное утро. А ты не говоришь со мной, ты не глядишь на меня, ничего обо мне знать не хочешь, я тебе безразлична. Ты словно околдовал меня, и я не могу разрушить твои чары. А теперь, окончив свои дела, ты отделываешься от меня одним «не

возвращайся».

— Значит, если я что-то взял, нужно отдать другое?

— Так делается среди людей.

Он коротко и заинтересованно хмыкнул.

— Что же ты от меня хочешь? У меня ничего нет.

Я отодвинулась от него. Я чувствовала… не знаю, что я тогда чувствовала. Только по прошествии какого-то времени сказала:

— Не знаю.

Он пожал плечами и отвернулся. Я бросилась к нему и потянула назад:

— Я хочу, чтобы ты…

— Ну и чего же ты хочешь?

У меня не было сил смотреть на него; я едва могла говорить.

— Не знаю. Что-то есть, что-то должно быть, но я не знаю, что это такое. Что-то такое, что я не могла бы произнести вслух, даже если бы знала.

Он снова покачал головой, и я опять взяла его за руки.

— Ты вычитал из моего ума столько книг, неужели ты не можешь прочесть во мне… *меня*.

— Я не пытался. — Он взял мое лицо в ладони.

Странный взгляд его проник в меня, и я вскрик-

нула. Попыталась вырваться. Я не хотела этого, я была уверена в этом. Я отчаянно сопротивлялась. Мне казалось, его большие ладони отрывают меня от земли. Он не отпускал меня, но, дочитав, выронил на землю. Рыдая, я съежилась на траве. Он присел возле меня. Он не пытался ко мне прикоснуться, не стремился уйти. Я наконец успокоилась и притихла, ожидая.

— Я не намереваюсь еще раз повторять это.

Я села, обтянула колени юбкой, и припала к ним щекой, чтобы видеть его лицо.

— И что же произошло?

Он ругнулся:

— Чертова путаница у тебя в голове! Тебе тридцать три года — и чего ради ты намереваешься жить подобным образом?

— Я живу весьма уютно, — возразила я с вызовом.

— Оно и заметно — одна целых десять лет, никого, кроме прислуги, не видишь.

— Мужчины — это животные, а женщины…

— На самом деле ты ненавидишь женщин. За то, что им известно такое, чего не знаешь ты.

— И не хочу знать. Я счастлива жить такой, какая я есть.

— Черта с два.

Я промолчала. Презираю подобные выражения!

— Ты хочешь знать обо мне две вещи. И ни одна из них не имеет смысла. — Он посмотрел на меня с первым подлинным чувством, которое я заметила на его лице: с полным изумлением. — Ты хочешь знать обо мне все: откуда я родом и как стал таким.

— Да, хочу. А что за вторая вещь, которую ты знаешь, а я нет?

Не обращая внимания на мой последний вопрос, он проговорил:

— Я где-то родился и как-то вырос. Родные даже не потрудились пристроить меня в сиротский приют. И я остался на полной свободе — учиться на должность деревенского идиота. Вот я и убежал. Но не в деревню — в леса.

— Почему?

Он задумался и наконец сказал:

— Наверное, потому, что людская жизнь казалась мне бессмысленной. А тут я мог расти, как хотел.

— И как ты хотел? — спросила я, преодолевая ту огромную даль, которая то и дело возникала и исчезала между ним и мною.

— То, что я хотел, я извлек из твоих книг.

— Ты никогда не говорил мне об этом.

Он снова повторил:

— Ты учишься, но не думаешь. Оказывается, существует такая… ну, *персона*. Она состоит из отдельных частей, но образует единую личность. У нее есть нечто вроде рук, нечто вроде ног, подобие говорящего рта и мозга. И я — мозг этой личности. Очень слабый мозг, но лучшего мне не попадалось.

— Ты безумен!

— Нет, нисколько, — отвечал он без обиды и с абсолютной уверенностью. — У меня есть та часть, которая служит вместо рук. Я могу направить их куда угодно, и они сделают все, что велю. У меня есть говорящая часть. Очень хорошая.

— Ну сам ты не слишком красноречив, — отвечала я.

Он удивился:

— Так я не о себе! Она сейчас там, с остальными.

— Она?

— Ну та, что говорит. Теперь мне нужна, которая думает, и та, что может сложить одно с другим и найти правильный ответ. А когда все окажутся вместе и будут сообща работать, я стану тем самым невиданным существом, о котором

тебе говорил. Поняла? Только я хочу, чтобы у него была голова получше моей.

Моя собственная голова шла кругом.

— А почему ты все это затеял?

Он серьезно поглядел на меня.

— А почему у тебя волосы под мышками растут? Такое не задумаешь. Так, наверное, должно быть.

— А что бывает… ну то, что случается, когда ты смотришь мне в глаза?

— Ты хочешь, чтобы я дал этому имя? У меня его нет. Я не знаю, как это получается, но знаю, что умею заставить всякого выполнить мое желание. И ты, например, сейчас забудешь обо мне.

Я сказала сдавленным голосом:

— Но я не хочу забывать…

— Захочешь… — Я не поняла, чего он хочет: чтобы я забыла о нем или *захотела* забыть. — Сперва ты возненавидишь меня, а потом, не скоро, будешь мне благодарна. Может быть, тогда ты сумеешь сделать кое-что для меня. И сделаешь это охотно. Но сейчас ты все забудешь, да, все, кроме чувства. И моего имени, может быть.

Не знаю, что заставило меня спросить об этом, но я отрешенно произнесла:

— И никто никогда не узнает о тебе и обо мне?

— Не узнает, — проговорил он. — Если только… если только это не будет голова животного, такого, как я, или даже лучше.

Он поднялся.

— Подожди, подожди! — вскрикнула я. Только бы он не ушел! Высокий, грязный, гадкий зверь, мужчина, он каким-то невероятным образом поработил меня. — Но ты еще не дал мне того, второго… не знаю, что это…

— Ах, это, — произнес он. — Да, я понимаю.

Двигался он, как молния. Сперва надавило, раздвигая, пронзило, и в муках блаженства утонула боль.

Выбрался из всего этого я на двух четко разделенных уровнях.

Мне одиннадцать, и я задыхаюсь от потрясения, переживая вторжение в чужое «я».

И мне пятнадцать, я лежу на кушетке, а Стерн все жужжит: спокойно, спокойно, расслабился, лодыжки и ноги твои расслабились, как и пальцы ног, живот сделался мягким, затылок расслабился, как твой живот, все тихо и спокойно, все мягко, все мягче, чем мягкое…

Я сел и спустил ноги на пол.

— О'кей!

Стерн посмотрел на меня с легкой досадой.

— Это должно сработать, но только в том случае, если ты будешь содействовать. Только ле…

— Уже сработало, — проговорил я.

— Что именно?

— Все было, как вы сказали. От А до Я. — Я щелкнул пальцами. — Вот так.

Он проницательно посмотрел на меня.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Это произошло там, в библиотеке. Когда мне было одиннадцать. Когда она сказала «Малышу — три». И все, что три года кипело в ней, хлынуло на меня с полной силой, на подростка, без предупреждения, без защиты. В ней было столько боли… я даже не подозревал, что такое возможно.

— Продолжай, — проговорил Стерн.

— Это действительно все. Я не про то, что было в ней, я про то, что это сделало со мной. На самом деле это была какая-то часть ее самой. Все, что случилось с ней за четыре месяца, все до последней малости, все разом вылилось на меня. Она знала Дина.

— Ты имеешь в виду всю *последовательность* эпизодов?

— Именно.

— И она хлынула на тебя? За долю секунды?

— В самом деле. Понимаете, на эту самую долю секунды я *сделался* ею, всем, что она делала, что думала, слышала и ощущала. Всем, целиком, в полном порядке, если бы мне вдруг захотелось припомнить. Любой частью ее прошлого, если оно потребовалось бы мне. Если бы я вдруг решил рассказать вам, что ел за ленчем, нужно ли было мне рассказывать все, что я делал с самого дня рождения? Нет. Говорю вам, я *сделался* ею, и с этого мгновения и на веки вечные способен припомнить все, что помнила она в этот момент. Единым порывом.

– *Гештальт*, — пробормотал он.

— Ага! — проговорил я и задумался, задумался о многом и всяком. И, отодвинув в сторону эти мысли, сказал: — Но почему я не знал этого прежде?

— Тебе поставили мощный блок на подобные воспоминания.

Я в волнении поднялся на ноги.

— Не вижу причины. Совершенно не понимаю, зачем.

— А может быть, дело просто в естественном отвращении, — предположил он. — Как тебе такой вариант? Тебе было отвратительно ощутить себя женщиной даже на короткий момент.

— Но вы еще в самом начале говорили мне, что

это не является для меня проблемой.

— Ну и как тебе самому кажется? Ты говоришь, что чувствовал боль в этом эпизоде. Значит, ты не хотел возвращаться к нему, чтобы не почувствовать эту боль.

— Позвольте подумать, позвольте подумать… Да-да, это часть всей проблемы — проблемы погружения в чужой ум. Она открылась передо мной потому, что я напомнил ей Дина. И я вошел. Вошел, но не был готов, потому что никогда не делал этого прежде, разве что в малой доле и при наличии сопротивления. Я прошел внутрь на всю глубину, и этого оказалось слишком много; я пережил ужасный испуг, заставивший меня на многие годы отказаться от новых попыток. Однако воспоминание не исчезло, оно осталось отгороженным стенкой, запертым на замок. Однако я взрослел, и потребность сделать это становилась во мне все сильнее, однако я все время боялся это сделать. И чем больше я рос, тем сильнее и глубже понимал, что мисс Кью должна погибнуть прежде, чем она убьет… то, чем я являюсь. Боже мой! — воскликнул я. — Да знаете ли вы, что я такое?

— Не знаю, — ответил он. — Хочешь рассказать?

— Хотелось бы, — ответил я. — О, как хотелось бы…

На лице Стерна почивало полное профессиональной открытости выражение, не выражавшее ни веры, ни недоверия, но просто воспринимающее. Мне нужно было кое-что сказать ему, и я вдруг понял, что для этого мне не хватает слов. Я знал предметы и факты, но не знал их имен.

Дин забрал смыслы и отбросил слова.

И ранее того: *Ты читаешь книги. Читай их для меня.*

И его глаза… вскрывающие суть.

Я подошел к Стерну, он посмотрел на меня, я пригнулся. Сперва он испугался, но потом справился с собой и даже пододвинулся ближе.

— Боже мой, — пробормотал он. — Я еще не видел подобных глаз! Клянусь, у тебя радужки вращаются, как колеса.

Стерн прочел много книг. Я и не думал даже, что их столько понаписано. И я проскользнул внутрь, выискивая необходимое.

Не могу точно сказать, на что это было похоже. Словно бы идешь по тоннелю, своды и стены утыканы палками с деревянными рукоятками… как вращающееся колесо на ярмарке, с которого нужно снимать медные кольца. На конце каждой

из рукояток было по медному колечку, и при желании можно было срывать любое из них. А теперь представьте, что вы настраиваете свой разум срывать только те, которые вас интересуют, а еще — что у вас тысяча рук, и все они срывают эти кольца. А кроме того, тоннель тянется на какие-нибудь зильоны миль, но вы способны пройти, срывая кольца, от одного конца его до другого в мгновение ока. Да, так оно и было, только много легче.

Мне было проще проделать это, чем Дину.

Я выпрямился и отошел от Стерна. Ему было явно не по себе. Он даже испугался.

— Все в порядке, — успокоил я.

— Что ты сделал со мной?

— Мне были нужны кое-какие слова. Спасибо.

Держался он превосходно. Положил трубку в карман, провел кончиками пальцев по лбу и щекам. А потом сел, уже в полном порядке.

— Я знаю, — сказал я. — Так себя чувствовала мисс Кью после встреч с Дином.

— Так *кто* же ты?

— Скажу. Я — центральная ганглия сложного организма, состоящего из компьютера — Малыша, телепортеров Бини и Бони, телекинетика Джейни и меня самого — телепата и управ-

ляющего. В нас нет ни единого свойства, еще неизвестного людям. Йоги знакомы с телепортацией, некоторые азартные игроки владеют телекинетикой, есть безумные счетчики, но в наибольшей степени известен так называемый полтергейст, когда очередная юная девица движет по дому разные вещи… Только в нашем случае каждый элемент действует с максимальной эффективностью.

Нас создал Дин, либо же этот организм сложился вокруг него, — неважно, как это получилось. Я пришел Дину на смену, но был еще слишком неразвит, когда он умер, а к тому же получил тяжелый удар от мисс Кью. В этом отношении вы действительно правильно говорили, что полученный удар вселил в меня подсознательный страх и нежелание узнать, что именно за ним таится. Однако существовала и другая причина моего нежелания заглянуть за барьер в виде фразы: *Малышу — три*.

Перед нами возникла проблема относительной ценности. Да, мисс Кью дала нам безопасность. Но мой гештальт-организм погибал от этой безопасности. Тогда я понял — или я умру, или она. О, конечно, части бы выжили: две цветные девчонки, толком не умеющие говорить,

девушка-интровертка, любящая рисовать, монголоидный идиот и я сам — девяносто процентов закороченного потенциала и на десять процентов малолетний преступник. — Я усмехнулся. — Конечно, ее оставалось только убить. Из чувства самосохранения гештальт-организма.

Стерн пожевал губами и выдавил наконец:

— Но я не…

— И не надо. — Я расхохотался. — Просто чудесно. Вы действительно мастер своего дела. И я хочу сказать это, потому что вы можете далеко продвинуться в своем ремесле. Хочешь знать, что еще мешало? Я не мог миновать этих слов «Малышу — три», потому что в них и крылся ключ к тому, что́ я есть. И я не мог обнаружить его потому, что боялся вспомнить, как был одновременно мальчиком, мисс Кью и частью чертовски огромного целого. Я не мог быть и тем и другим сразу — и не мог *не* быть.

Он спросил, вновь обратив глаза к трубке:

— А теперь можешь?

— Вполне.

— И что теперь будет?

— Что вы хотите этим сказать?

Стерн прислонился спиной к углу своего письменного стола:

— А тебе не приходило в голову, что твой гештальт-организм, возможно, уже мертв?

— Он жив.

— Откуда ты знаешь?

— Знает ли ваша голова, есть ли у нее руки?

Он тронул свое лицо.

— Так… что же будет теперь?

Я пожал плечами.

— Разве пекинский человек, глядя на прямую спину сапиенса, спрашивал: что будет теперь? Мы просто живем, только и всего… как человек, как дерево, как все живое. Мы питаемся и растем, экспериментируем и размножаемся. Защищаем себя. — Я развел руками. — Мы ведем себя исключительно естественным образом.

— Но что вы можете делать?

— Что может делать электрический двигатель? Все зависит от того, куда его поставят.

Стерн побледнел как полотно.

— Но что вы… что вы *хотите* делать?

Я задумался над этими словами. Стерн молча ожидал, когда я закончу размышления.

— Знаете что, — проговорил я наконец. — С самого дня рождения все окружающие только и делали, что пинали меня… пока я не встретил мисс Кью. И как же она обошлась со мной? Едва

не убила!

Я подумал еще и сказал:

— Все вокруг развлекались, кроме меня одного. А способ развлечения у всех этих окружающих очень простой — пинай всякого, кто меньше тебя и не может дать сдачи. А то можно и польстить тебе — чтобы сесть тебе на шею или убить. — Я посмотрел на него и ухмыльнулся. — Так что я собираюсь потешить душу, только и всего.

Он повернулся ко мне спиной. Кажется, собрался пройтись по своему кабинету, но тут же развернулся обратно.

— Ты преодолел огромный путь с того момента, как вошел в эту комнату.

Я кивнул:

— Конечно, вы *отличный* мозгоправ.

— Спасибо. — Он с горечью покачал головой. — И ты решил, что вылечился, теперь все в порядке, все на своих местах и готово крутиться?

— Уверен в этом. А вы?

Он покачал головой.

— Пока мы с тобой выяснили только одно: что ты собой представляешь. Но тебе придется узнать еще кое-что.

Я был готов потерпеть.

— Что именно?

— Ну, скажем, как живется людям, у которых такое на совести. Джерри, ты не похож на обычных людей, но все-таки ты человек.

— Разве я виноват, если спасал свою шкуру?

Он словно не слышал.

— Вот еще кое-что: ты говорил, что всегда был зол на всех и на вся… так и жил. А ты не задумывался, почему?

— Нет, как-то не приходилось.

— Ты всегда был одинок, потому-то общество этих детей, а потом мисс Кью так много значило для тебя.

— Дети-то остались при мне.

Он медленно качнул головой.

— Ты и дети — единое существо. Уникальное. Не имеющее родни. — Он ткнул в меня трубкой. — *Одинокое*.

Кровь запульсировала в моих ушах.

— Заткнись, — бросил я.

— Сам подумай, — тихо отвечал он. — Твои возможности почти безграничны. Ты можешь получить все, что захочешь. Но ничто не избавит тебя от одиночества.

— Заткнись! Все одиноки.

Он кивнул.

— Но некоторые умеют справляться с одино-

чеством.

— Как?

Помедлив, он произнес:

— Есть нечто, неведомое тебе. И слово, обозначающее это понятие, для тебя — пустой звук.

— Говори, я слушаю.

Он окинул меня странным взором.

— Иногда эту штуку называют моралью.

— Наверно, вы правы. Хотя я и не понимаю, о чем вы говорите. — Я более не испытывал желания слушать его. — Вы боитесь… вы боитесь *Homo Gestalt.*

Стерн удивительным образом заставил себя улыбнуться.

— Недоделанная терминология.

— Мы и сами еще недоделаны. — Проговорив это, я указал: — Сядь сюда.

Он пересек притихшую комнату и уселся за стол. Я нагнулся к нему, и он уснул с открытыми глазами. Я выпрямился и осмотрел комнату. А потом взял термос, наполнил его и поставил на стол. Расправил уголок ковра, покрыл изголовье кушетки чистым полотенцем. Потом подошел к столу, выдвинул ящик и увидел магнитофон. И вместо того чтобы протянуть к нему руку, вызвал Бини. Она выросла рядом, широко открыв глаза.

— Посмотри-ка сюда, — обратился я к ней. — Хорошенько посмотри. Я хочу стереть эту ленту. Спроси у Малыша, как это сделать.

Она моргнула, словно бы встряхнулась, а потом склонилась над магнитофоном. Словом, постояла, исчезла, вернулась. Шагнула вперед. Нажала две кнопки, дважды щелкнула переключателем. Лента с писком закрутилась назад мимо головки.

— Хорошо, — сказал я ей, — готово.

Она исчезла.

Взяв куртку, я направился к двери. Стерн все сидел за столом, уставившись перед собою.

— Хороший мозгоправ, — пробормотал я. Чувствовал я себя просто здорово.

Снаружи я помедлил, затем вернулся в кабинет. Стерн поглядел на меня.

— Садись-ка сюда, сынок.

— Извините, — отвечал я. — Простите, сэр, ошибся дверью.

— Ничего, — отвечал он.

Я вышел, закрыл за собой дверь и всю дорогу к полицейскому участку ухмылялся. Сообщение о смерти мисс Кью пройдет без задоринки. Иногда я даже посмеивался, подумывая о Стерне: как он будет морщить лоб, вспоминая события забытого дня и обнаружив в столе невесть откуда свалив-

шуюся тысячу долларов. Так-то куда забавнее, чем пожелать ему помереть. Кстати, а что такое мораль?

Часть третья. Мораль

— И кем же он вам приходится, мисс Джеральд? — осведомился шериф.

— Джерард, — поправила она. Странный рот, зеленовато-серые глаза. — Он мой кузен.

— Все мы, Адамовы дети, кузены через праотца Адама. Надо бы точнее.

— Семь лет назад он служил в ВВС, — сказала она. — А потом начались неприятности. Его уволили по состоянию здоровья.

Шериф покопался в папке, лежавшей на столе.

— Помните имя доктора?

— Сперва был Томпсон, потом Бромфилд. Он и подписал заключение.

— Кем он был до службы в авиации?

— Инженером. То есть стал бы, если бы успел окончить училище.

— А почему не окончил?

Она пожала плечами:

— Он тогда пропал.

— Так откуда вы знаете, что он здесь?

— Я узнаю его везде, — отвечала она, — я видела… я видела, как это случилось.

— Видели? — Шериф сложил папку и бросил ее на стол. — Знаете, мисс Джерард, не мое дело давать людям советы, но вы, кажется, приличная девушка. Почему же вы не можете просто позабыть о нем?

— Мне бы хотелось повидать его, если это возможно.

— Он не в своем уме. Вы не знали этого?

— Нет.

— Разбил кулаком оконное стекло. Без веской причины.

Она ждала. Шериф настаивал:

— Он неопрятен. Не помнит даже своего имени.

— Так могу ли я увидеть его?

Шериф буркнул что-то неразборчивое и встал.

— Будь у этих недоумков из BBC хоть сколько-нибудь соображения, они определили бы его куда надо, а не в тюрьму.

Стены коридора были выложены усыпанными заклепками стальными пластинами, выкрашенными в кремовый цвет сверху и в горчичный снизу. Каждый шаг вызывал гулкий резонанс. Шериф отпер дверь с узким зарешеченным оконцем. Они вошли, шериф запер за собой дверь, пропустив ее вперед, в большое, похожее на

сарай помещение с бетонными стенами и потолком. Вокруг него шло некое подобие балкона, под и над которым располагалось около двадцати зарешеченных холодных и неуютных камер. Занятыми были с полдюжины.

— А на что вы, собственно, рассчитывали? — вопросил шериф, заметив выражение на ее лице. — Здесь у нас не Уолдорф-плаза или что-нить такое же.

Они подошли к одной из камер в нижнем ряду.

— А ну-ка просыпайся, Бэрроуз. К тебе дама.

— Гип! О Гип!

Заключенный не шевельнулся. Он раскинулся на матрасе, лежащем прямо на стальном полу. Левая рука была замотана грязной повязкой.

— Видите, мисс, ни слова! Довольно?

— Могу ли я переговорить с ним с глазу на глаз? Впустите меня к нему, — выдохнула она.

— Как бы чего не случилось, — предупредил шериф.

Она пристально посмотрела на него. И, отпирая дверь камеры, шериф промолвил:

— Если что — вопите громче. Я тут поблизости. А ты, Бэрроуз, смотри у меня, не то получишь пулю, — и он запер за ней дверь камеры.

Девушка подождала, пока шериф отошел, и

склонилась над заключенным.

— Гип, — пробормотала она, — Гип Бэрроуз.

Померкшие глаза шевельнулись в глазницах, повернулись в ее сторону. Медленно моргнули и неторопливо открылись опять.

Она встала рядом с ним на колени.

— Мистер Бэрроуз, — шепнула она. — Вы не знаете меня. Я сказала им, что вы мой двоюродный брат. Я хочу помочь вам.

Он молчал. Она сказала:

— Я хочу помочь вам выбраться отсюда. Вы хотите вернуться на свободу?

Он долго глядел ей в лицо. Потом глаза его совершили путь к запертой двери и вернулись к ее лицу.

Она прикоснулась к его лбу, к щеке. Показала на грязную повязку:

— Сильно болит?

Он рассеянно перевел взгляд от ее лица к повязке. Потом с трудом посмотрел на нее снова. Она спросила:

— Не хотите ли вы что-то сказать?

Он молчал так долго, что она поднялась.

— Пожалуй, мне лучше уйти. Но вы все-таки не забывайте обо мне. Я помогу вам. — И она повернулась к двери.

Он спросил:

— Почему?

Она вернулась назад:

— Потому что вы — грязный, избитый, никому не нужный… и потому что я знаю, кто вы на самом деле.

— Вы безумны, — устало пробормотал он.

Она улыбнулась:

— О вас здесь говорят то же самое. Значит, у нас много общего.

Он грязно выругался.

Она невозмутимо ответила:

— И за этим вы тоже не спрячетесь. А теперь слушайте меня. Сегодня днем вас посетят двое. Один — доктор. Второй — адвокат. К вечеру вы выйдете на свободу.

Он приподнял голову, и на его летаргическом лице проступили наконец признаки чувства. Оно могло казаться каким угодно, только не доброжелательным. Голос его исходил из недр груди:

— Что еще за доктор?

— Хирург, у вас ведь поранена рука, — ровно отвечала она. — Не психиатр. Вам не придется заново переживать освидетельствование.

Он откинул голову назад. Оживление медленно покидало его. Она подождала, но, не получив

ответа, повернулась и позвала шерифа.

Это было несложно. Приговор предусматривал два месяца за злостное хулиганство. И не определял альтернативы в виде штрафа. Адвокат мгновенно доказал, что подобная альтернатива должна была существовать. Штраф был выплачен. В новой чистой повязке и грязной одежде Бэрроуза провели мимо сердитого шерифа, расточавшего угрозы и живописавшего, что именно ждет всякого грязного типа, осмелившегося снова сунуть нос в городок.

Девушка ожидала его на улице. Гип, чувствуя себя дураком, стоял на крыльце, пока она заканчивала разговор с адвокатом. Наконец тот удалился, и она притронулась к его локтю.

— Пошли, Гип.

Он следовал за ней, как заводная игрушка, ноги словно сами несли его в нужную сторону. Дважды свернув за угол, они поднялись по чистым ступеням дома, стоявшего среди прочих строений как-то строго и особняком, словно старая дева. Окошко над дверью поблескивало цветными стеклами витража. Девушка отперла одним ключом входную дверь, другим ключом дверь в прихожую. Они вошли в коридор, затем в комнату с эркером. Высокий потолок, много

воздуха, чистота.

Впервые он что-то сделал по собственной воле: медленно повернулся, одну за другой разглядывая стены, приподнял за уголок салфетку на туалетном столике, дал ему опуститься.

— Ваша комната?

— Ваша, — ответила она, и, подойдя к нему, положила на комод два ключа. — Ваши ключи. — Она выдвинула верхний ящик. — Тут носки и носовые платки. — Потом по очереди постучала костяшками по каждому ящику: — Рубашки. Белье. — Указала на дверцу шкафа: — Там два костюма. По-моему, должны подойти. Халат, шлепанцы, ботинки. — Потом показала на дверь: — Ванная. Там все есть: полотенце, мыло. Бритва.

— И бритва?

— Всякий, кому доверяют ключи, может иметь и бритву, — мягко отвечала она. — А теперь приведите себя в порядок. Я вернусь через пятнадцать минут. Вы помните, когда ели в последний раз?

Он покачал головой.

— Четыре дня назад.

— Так что пока.

Она выскользнула за дверь и исчезла, хотя он пытался окликнуть ее. И долго глядел на дверь.

А потом ругнулся и бессильно повалился спиной на кровать.

Поскреб нос, рука сама собой устремилась к подбородку. Шершавый, колючий. Привстал, пробормотал: «черта с два» и повалился обратно. И вдруг каким-то образом оказался в ванной прямо перед зеркалом. Намочил руки, плеснул воды в лицо и растер грязь полотенцем. Поглядел и снова взялся за мыло.

Он нашел бритву, нашел белье, брюки, носки, шлепанцы, рубашку и куртку. А потом посмотрел в зеркало и понял, что ему необходима расческа. А потом она локтем открыла дверь, положила свои пакеты на комод, улыбнулась ему. И протянула руку — с расческой. Ни говоря ни слова, он взял ее, вернулся в ванную, намочил волосы и причесался.

— Идите, все готово, — позвала его из комнаты девушка. Она убрала с ночного столика лампу и поставила на него толстое овальное блюдо, на котором находились нежирный настоящий стейк, бутылка эля, бутылочка поменьше с крепким портером, картофель по-айдахски — между половинками клубней таяло масло. Горячие рулеты под салфеткой, салат в небольшой деревянной миске.

— Я ничего не хочу, — заявил он, немедленно приступая к трапезе. И все в мире исчезло: остался лишь вкус доброй еды, наполнявшей гортань и небо, тонкое покалывание пива и неописуемое волшебство обжаренной корочки.

Когда блюдо опустело, он вдруг почувствовал, что оно готово вместе со столиком взлететь к его голове. Гип содрогнулся всем телом, шатнулся вперед, вцепился обеими руками в край стола, чтобы удержать его на месте.

— Все в порядке, все хорошо, — проговорила девушка за его спиной и, положив руки на плечи, усадила обратно в кресло. Он попытался поднять руку, однако не смог этого сделать. Она вытерла салфеткой его влажный рот и лоб.

Наконец глаза его открылись, Он поискал ее взглядом… она сидела на краю постели, безмолвно наблюдая за ним. Он кротко улыбнулся.

Она поднялась:

— Теперь все будет хорошо. Ложитесь. Спокойной ночи!

Она была в комнате — и вдруг ее не стало. Она была с ним, а теперь он остался один. Это была перемена слишком важная для того, чтобы ее можно было претерпеть, и слишком огромная для того, чтобы ее можно было понять. Поглядев на

дверь, он проговорил «Спокойной ночи» только потому, что это были последние ее слова, и они еще трепетали в воздухе.

Опустив руки на подлокотники кресла, Гип заставил свои ноги повиноваться. Он сумел только встать, не более того, и в итоге упал вперед и наискось, чтобы при падении не задеть стол. Он повалился поперек стеганого покрывала, и навалилась тьма.

— Доброе утро.

Он не шевелился. Колени его были подогнуты, а руки тыльной стороной прикрывали глаза. Он отключил свое кинестетическое чувство осязания, чтобы легкий наклон матраса не указал на место, где присела она. Он отсоединил слух — на случай, если она опять заговорит. Но ноздри выдавали его, он не ожидал обнаружить в этой комнате кофе, и теперь хотел его, жаждал, прежде чем отключить обоняние.

Он лежал и думал, что-то думал о ней. Если она заговорит, думал он, я ей задам. Он будет лежать здесь, пока она не заговорит, а когда заговорит, проигнорирует ее, и останется лежать.

Он ждал.

Но если она не заговорит, он не сможет проигнорировать ее слова, так?

Он открыл глаза — круглые, горящие, сердитые. Она сидела в ногах его постели. Тело ее замерло, лицо застыло, жили собственной жизнью только рот и глаза.

Он вдруг с силой закашлялся. Это заставило его зажмуриться, но когда он снова открыл их, то уже не смотрел на нее. Прикоснувшись к груди, он посмотрел на себя.

— Надо же, так, не раздеваясь, проспал всю ночь.

— Выпейте кофе.

Он поглядел на нее. Она до сих пор не двигалась и не шевелилась. Красный жакет с серо-зеленой косынкой на шее, удлиненные серо-зеленые глаза — из тех, что в профиль кажутся глубокими треугольниками. Он отвернулся от нее…

И, поворачиваясь все дальше и дальше, заметил кофе. Высокий кофейник, чашка с толстыми стенками, полная до краев. Черный, крепкий, добрый напиток.

— Ух, — протянул он, вдыхая запах. И отпил. — Ух!

Теперь он поглядел на солнечный свет: складки приподнятых дуновением маркизетовых занавесок, сноп света. Хорошо. Светлый овал, тень самого света там, где солнце отражалось от

висевшего на стене круглого зеркала на чистую краску соседней стены. Хорошо. И он сделал новый добрый глоток.

Потом поставил чашку и прикоснулся к пуговицам рубашки… мятой и пропотевшей.

— Душ, — проговорил он.

— Ступайте, — отвечала девушка. Поднявшись, она подошла к комоду, на котором находилась картонная коробка и несколько бумажных пакетов. Из коробки она достала электроплитку. Тем временем он сумел расстегнуть три пуговицы. Потом с легким треском отлетели четвертая и пятая. Каким-то образом он сумел избавиться от прочей одежды. Девушка не обращала на него внимания, она не смотрела на него, но и не отворачивалась, а что-то делала с плиткой. Он отправился в ванную комнату и долго возился там с кранами душа, пытаясь сделать воду приемлемой. Став под душ, он пустил воду по шее и спине. Увидев в мыльнице мыло, пустил воду на голову и долго мылил ее куском мыла до тех пор, пока мягкая и ласковая пена не покрыла ее целиком. Неведомо откуда явилась мысль: *Боже мой, мои ребра стали похожи на ксилофон. Надо бы снова обрасти мясом, иначе можно и заболеть, а там и…* Потом мысль сама собой возвратилась об-

ратно, перебивая себя: *А зачем выздоравливать? Хорошо быть больным. Оставайся больным, чувствуй себя все хуже и хуже.* Возмутившись, он неведомо у кого потребовал ответа: кто это тут говорит, что я должен болеть. Однако ответа не получил, если не считать таковым звонкий плеск струй о кафель.

Выключив воду, он вышел из душа и снял с вешалки огромное полотенце. Начав с головы, просушил им каждый волосок от кончика до корня. Потом бросил его в уголке на пол, взял другое и растер им все тело, так что оно порозовело. Он выглянул в комнату, халат оказался на ручке находившегося возле двери мягкого кресла, поэтому он сразу же накинул его на плечи.

Девушка тем временем поливала три сидевших на сковородке идеальных яйца благоуханным жиром бекона, черпая его ложкой. Когда он присел на краешек постели, она ловко спустила все три яйца ему на тарелку, оставив весь жир на сковородке. Яичница оказалась совершенной, белок весь свернулся, а круглые желтки оставались жидкими, однако подернулись пленочкой. С ними соседствовал бекон, подсушенный и ароматный, на четыре коротких секунды не дотянувший до хруста. А еще тосты — золотые сна-

ружи, белые и мягкие внутри, с быстро тающим маслом, спешащим найти для себя укромные уголки и укрытия… два ломтика с маслом, один с мармеладом. И всю эту трапезу освещало солнце, создавая цвета, доступные одному лишь мармеладу и цветному стеклу.

Он ел и пил кофе; ел и снова пил кофе, и запивал его кофе. Все это время она сидела в мягком кресле, и руки ее казались плясунами, под легкими и быстрыми движениями которых пуговицы сами собой прирастали к рубашке.

Он следил за ней, и когда она закончила свою работу, подошел и протянул руку к рубашке, однако она указала ему:

— Возьмите чистую.

Он обнаружил вязаный пуловер и рубашку-поло.

Пока он одевался, она вымыла тарелки и сковородку и поправила постель. Потом он сидел, откинувшись в кресле, а она, став на колени, перевязывала его руку. Повязка оказалась крепкой и удобной.

— Вообще-то уже можно обойтись и без повязки, — с удовлетворением заметила девушка. Потом она встала, подошла к постели и села лицом к нему, спокойная — если забыть про глаза,

если забыть про рот.

За окном протяжно пропела иволга, птичий крик звонкими льдинками просы́пался с небес. Проехал шальной грузовик, деловито потряхивая ниткой коровьих колокольчиков в кузове. По бокам его шествовали двое мужчин, голос одного из них звучал грубо, голос другого пел, словно как скрипка. От одного из окон пополз в пространство сферический звук, в середине которого жужжала муха. В другом окне появился белый котенок. Муха пролетела мимо котенка, тот встал на дыбки и замахал лапками, а потом повернулся и спрыгнул вниз так, словно уже давно собирался это сделать. Только глупец мог подумать, что он потерял равновесие.

В комнате же было тихо, в ней царило ожидание, ничего не требовавшее, однако ничего не оставлявшее без внимания. Девушка сидела, руки ее уснули, лишь глаза бодрствовали, пока трубочист, имя которому — исцеление, чистил тело Гипа от костей до кожи, пока он отдыхал, креп, набирался сил.

Потом она поднялась, не сказав ему ни слова, просто потому, что время пришло. Прихватив небольшой ридикюль, встала возле двери. Он шевельнулся, поднялся на ноги, приблизился к

ней. Они вышли.

Неторопливо подошли к пологому ухоженному склону. У подножия его мальчишки играли в софтбол. Они немного постояли, наблюдая за ними. Она все время внимательно изучала лицо Гипа и, заметив, что на нем отражаются только движущиеся фигурки, но не сама игра, взяла его под руку и повела дальше. Они набрели на пруд с утками. Извилистые шлаковые дорожки вели к нему, петляя между цветущими клумбами. Сорвав примулу, она воткнула цветок ему в петлицу. Потом они отыскали скамейку, возле них остановился мужчина с чистенькой яркой тележкой. Она купила Гипу гамбургер и бутылку содовой. Он молча принялся за еду.

Неторопливо тянулось время.

Когда стало темнеть, она проводила его назад, в комнату. Оставила одного на полчаса, а когда вернулась, увидела, что он словно окаменел в той же позе. Потом она разворачивала покупки, разогревала еду, нарезала салат, варила кофе. Поев, он начал зевать. Она немедленно поднялась на ноги, произнесла: «Спокойной ночи» — и исчезла.

Он неторопливо повернулся и посмотрел на закрытую дверь. После некоторой паузы проговорил «Спокойной ночи», потом разделся, улегся в

постель и выключил свет.

На следующий день они проехались на автобусе и зашли в ресторан.

Ну а еще на следующий — задержались попозже, чтобы пойти на концерт.

Как-то утром шел дождь, и они сразу отправились в кино. Фильм он смотрел молча — не улыбаясь, не хмурясь, не радуясь мелодиям. «Вот кофе», «Это нужно отдать в прачечную», «Пойдем», «Спокойной ночи», — других слов она не говорила. Только наблюдала за ним, ничего не требовала и ждала.

Он проснулся — было слишком темно. Он и не понимал, где находится. Перед ним возникло лицо, широколобое, худощавое, с острым подбородком, глаза прятались за толстыми стеклами очков. Он безмолвно вскрикнул, а оно улыбнулось в ответ. Когда он понял, что лицо это находится не в комнате, а в его памяти, оно исчезло… нет, он просто понял, что оно находится не здесь. Сознание этого наполнило его яростью, буквально плавившей мозг. *Да, но кто это?* — спросил он себя и ответил себе: *не знаю, не знаю, не знаю,* — и голос его превращался в стон, затихавший и затихавший, пока не умолк совсем. Гип глубоко вздохнул, и тут что-то внутри

него скользнуло вниз, разлетелось на части, и он зарыдал. Кто-то взял его за руку, за другую, свел вместе ладони… это была девушка, она услышала его боль и пришла. Он не один.

Не один… эта мысль заставила его зарыдать с еще большей горечью. Перехватил ее руки в свои, и она склонилась над ним, а он сквозь тьму глядел на лицо ее и волосы… и плакал.

Она оставалась с ним до тех пор, пока он не успокоился, и еще долгое время после этого, потому что он не выпускал ее руку. Пальцы его разжались только после того, как он уснул. Девушка, укрыв спящего одеялом до подбородка, вышла из комнаты.

Утром он сидел на краю постели, наблюдая за тем, как тает, растворяясь в солнечном свете, тонкая струйка пара над чашкой кофе. Когда на столике перед ним появилась яичница, он поднял глаза. Рот его дрогнул. Девушка, как всегда, стояла в позе ожидания.

— Вы уже завтракали? — наконец поинтересовался он.

Что-то блеснуло в ее глазах, и она отрицательно покачала головой.

Он посмотрел на тарелку, над чем-то задумался, затем отодвинул ее от себя на долю дюйма, встал

и предложил ей:

— Это вам, а я соображу себе что-нибудь другое.

Он уже мог увидеть ее улыбку, однако прежде как-то не замечал ее. И теперь словно бы вся теплота прежних улыбок слилась в эту единственную. Она села и принялась есть. Он поджарил себе яйца, совсем не так хорошо, как это сделала бы она, и они были готовы прежде, чем он вспомнил о тостах, а тосты подгорели, пока он ел яичницу. Она не пыталась каким-либо образом помочь ему даже в те мгновения, когда он рассеянно глядел на маленький стол, хмурился и потирал челюсть. В свой черед он обнаружил то, что искал, — вторую чашку, стоявшую на комоде. Он наполнил ее чашку кофе, а себе налил во вторую, к которой она даже не прикоснулась, и она улыбнулась снова.

— Как вас зовут? — впервые поинтересовался он.

— Джейни Джерард.

— Ах, так.

Она внимательно поглядела на него, а потом потянулась к спинке кровати, где на ремешке висела ее сумочка. Притянула ее к себе, открыла и достала нечто блестящее, какой-то кусочек ме-

талла. На первый взгляд это была алюминиевая трубка — дюймов восьми длиной, овальная в поперечном сечении. Только гибкая, сплетенная из тонких проволочек. Обернув вверх ладонью его правую руку, покоившуюся возле чашки, она опустила в нее короткий цилиндрик.

Гип не мог не видеть это движение — взгляд его был опущен вниз. Но пальцы его оставались разжатыми, выражение лица не изменилось. Наконец он взял в руку ломоть обжаренного хлеба. Трубка упала с ладони, покатилась к краю стола, свалилась вниз. Он принялся намазывать хлеб маслом.

После первой совместной трапезы все пошло по-другому. Многое стало иначе. Он не приступал к еде, пока не присоединится она. Начал оплачивать всякие мелочи: билеты в автобусе, обеды, потом стал пропускать ее первой в дверях, брать под локоть, когда они пересекали улицы. Сопровождал ее в магазины, носил оттуда пакеты.

Он вспомнил свое имя, вспомнил даже, что Гип — уменьшительное от Гиппократа. Но прочего, что обычно связано с именем, даже места рождения, припомнить не мог. Она не торопила и не расспрашивала его. Просто день за днем находилась рядом с ним и ждала. И все время

старалась, чтобы алюминиевая трубочка попадалась ему на глаза.

Почти каждое утро она оказывалась возле его тарелки. Или в ванной — там из нее торчала зубная щетка. Однажды она обнаружилась в боковом кармане пиджака вместе со скатанными в трубочку счетами. Достав бумажки, он рассеянно выронил металлическую штуковину, и Джейни пришлось подобрать ее. Однажды она засунула ему эту трубку в ботинок, и когда он стал обуваться и не смог этого сделать, то просто вытряхнул ее на пол и оставил лежать. Словно для него она была прозрачной, невидимой, что ли. Даже когда однажды в ней обнаружились его деньги, и ему пришлось взять в руки этот предмет, он обращался с ним небрежно и невнимательно, тут же избавился от него и явно забыл о его существовании. Сама Джейни никогда не заводила речи об алюминиевой штуковине. Только продолжала настойчиво оставлять ее на видном месте.

В жизни его стали появляться вчерашние дни, а потом оказалось, что каждый день начинается с утра. Пришли воспоминания: скамья, на которой им уже доводилось сидеть, театр, где они бывали. Он мог уже находить дорогу домой. День ото дня она все меньше руководила им. Наконец он стал

даже планировать, как они проведут день.

И поскольку память его ограничивалась днями знакомства с ней, каждый новый день приносил с собой открытия: пикник, новый маршрут автобуса, уток и лебедей в пруду.

Случались и открытия другого рода.

Однажды, остановившись посреди комнаты, он принялся разглядывать стены, окна и постель и сказал:

— Выходит, что я болел?

А потом остановился на улице, посмотрел на мрачное здание на другой стороне ее и произнес:

— А я в нем был.

А еще через несколько дней он остановился возле мужской галантереи и заглянул внутрь. Нет, не внутрь. Он смотрел на витрину. Джейни стояла рядом, вглядываясь в его лицо.

Он неторопливо поднял левую руку, сжал ладонь, посмотрел на кривой шрам на ее тыльной стороне и на два прямых, длинный и короткий, пересекавших его запястье.

— Вот, — сказала она, вкладывая трубку в его руку. Не глядя на предмет, он сжал пальцы в кулак. Лицо его отразил удивление, потом неприкрытый ужас, потом некое подобие гнева. Он даже покачнулся.

— Все хорошо, — сказала ему Джейни.

Он что-то недоуменно буркнул, посмотрел на нее, словно на незнакомку, и не сразу узнал. Потом раскрыл ладонь и внимательно посмотрел на металлическую трубочку. Подбросил ее, поймал и объявил:

— Это моя вещь.

Она кивнула.

— Вот это окно я и разбил. — Посмотрев на него, он снова подбросил в воздух металлический предмет, на сей раз отправив его в карман, и пошел дальше. Потом он долго молчал, и только когда они наконец поднимались по ступенькам к двери своего дома, сказал: — Я разбил витрину. И меня упекли за это в тюрьму, а ты вытащила оттуда… Я был болен, а теперь выздоровел, потому что ты привезла меня сюда. Зачем ты это сделала?

— Захотелось, — отвечала она.

Он сделался беспокоен. Подошел к шкафу, вывернул карманы обоих пиджаков и спортивной куртки. Пересек комнату, принялся ощупывать комод, открывать и выдвигать его ящики.

— В чем дело?

— Та штуковина, — рассеянно отвечал он. Зашел в ванную, вышел обратно. — Помнишь, трубка такая из металла.

— Да, — ответила она.

— Была же, — недовольно проворчал он, еще раз сделал круг по комнате, а потом, едва не задев Джейни, сидевшую на постели, потянулся к ночному столику. — Вот она! — Он глянул на трубку, согнул ее, сел и откинулся назад в кресле. — Боюсь потерять, — заметил он с облегчением. — Страшно привык к ней.

— Тюремщики хранили ее в конверте, пока ты был в камере, — пояснила Джейни.

— Угу-угу. — Он покрутил ее в пальцах, а затем ткнул ею в сторону Джейни, словно бы светлым и внушительным указующим перстом. — Эта штука…

Она ждала.

Он качнул головой.

— Она давно у меня, — повторил он. Поднялся, зашагал, вновь уселся. — Я искал парня, который… Ах ты! — пробормотал он. — Забыл.

— Ничего, вспомнишь, — мягко успокоила она.

Он обхватил голову руками и прошептал сухими губами:

— Черт, я почти отыскал его. Я давно его ищу. И *всегда* искал его?

— Всегда?

— Ну, все время после того, как… Джейни, я

опять ничего не помню.

— Ничего… все хорошо.

— Хорошо, хорошо, да не слишком это хорошо! — Он выпрямился и посмотрел на нее. — Прости меня, Джейни, я совсем не собирался орать на тебя.

Она улыбнулась, а он вдруг спросил:

— А где была та пещера?

— Пещера? — отозвалась она. Он очертил руками пространство:

— Что-то похожее: наполовину пещера, наполовину избушка. В лесу. Где же это было? Не помню…

— Я была там с тобой?

— Нет, — без промедления ответил он. — Кажется, я был там до этого… но не помню.

— Не волнуйся.

— А я вот *волнуюсь*! — возбужденно проговорил он. — Согласись, я вправе поволноваться?

И как только слова эти слетели с его языка, он взглядом попросил у нее прощения и получил его.

— Ты должна понять, — проговорил он уже более спокойным голосом, — что эта штука… я должен… вот что, — проговорил он, снова возбуждаясь, — так вот, эта штука сейчас важнее

всего, что присутствует в этом мире, но я не могу даже вспомнить, что это такое!

— Такое случается, — произнесла Джейни.

— Такое случилось со мной, — мрачным тоном проговорил он, — и это мне совершенно не нравится.

— Ты опять заводишься, — проговорила она.

— Да-да, именно! — взорвался он. Потом огляделся, яростно затряс головой. — Что это? Что я здесь делаю? Кто ты, Джейни? Зачем тебе все это нужно?

— Мне приятно видеть, как ты выздоравливаешь.

— Да, выздоравливаю, — проворчал он. — Я должен выздороветь! Назло тому, кто велел мне болеть и слабеть.

— Кто сказал тебе это? — вскрикнула она.

— Томпсон, — бухнул он и откинулся назад с тупым изумлением на лице. И высоким ломким голосом подростка простонал: — Томпсон? А кто это — Томпсон?

Она пожала плечами и будничным голосом произнесла:

— Надо полагать, тот, кто велел тебе болеть и слабеть, как ты говоришь.

— Ага, — вновь прошептал он и протянул снова,

уже в порыве откровения: — Ага-а-а…

Он погрозил ей плетеной трубкой:

— Я видел его, Томпсона этого. — Тут взгляд его вновь привлекла плетеная трубка. Он покрутил головой, закрыл глаза. — Я искал… — голос его умолк.

— Томпсона?

— Не, — буркнул он. — Уж *его-то* я и видеть не хотел… — И поправился: — Именно его. Я хотел выбить мозги из его поганой башки.

— В самом деле?

— Ну да. Видишь ли, он… он был… ох, ну что же это случилось с моей собственной *головой?*

— Ш-ш-ш, — попыталась она успокоить его.

— Не могу вспомнить, совсем не могу, — проговорил он надломленным голосом. — Это как… ну вот ты видишь, как нечто поднимается из земли, собираешься схватить это, тянешься изо всех сил, ощущая, как хрустят твои кости, вытягиваешься во весь рост и прикасаешься к этому пальцами, самыми кончиками пальцев… — Грудь его порывисто вздымалась и опадала. — Застываешь, словно бы навсегда, понимая, что не достигнешь цели, не сможешь ухватиться за это. А потом падаешь и видишь, как это нечто уходит вверх и вверх над твоей головой, становится все меньше

и меньше, и ты никогда… — Откинувшись на спину, Гип зажмурил глаза. Он то задыхался, то дышал едва слышно. — И ты никогда…

Он стиснул кулаки. В одном из них оказалась та плетеная трубочка, и он заново прошел весь процесс открытия — удивление и недоумение.

— Она давно у меня, — проговорил он, разглядывая вещицу. — Это какое-то безумие. Чистый бред… А ты как скажешь, Джейни?

— Ну что ты.

— Ты считаешь меня сумасшедшим?

– О нет.

— Значит, я болен, — проскулил он.

К его удивлению, она рассмеялась. Подошла к нему, рывком подняла из кресла, подвела к ванной комнате и включила свет. Потом втолкнула его внутрь, к раковине, и постучала по зеркалу костяшками пальцев.

— И кто тут болен?

Он посмотрел на сухое и твердое лицо, смотревшее на него из зеркала, на блестящие волосы, на ясные глаза. И повернулся к Джейни с искренним удивлением.

— Я уже давно так хорошо не выглядел. Во всяком случае, с тех пор, как… Джейни, я служил в армии?

— А ты как думаешь?

Он снова посмотрел в зеркало.

— Абсолютно здоровый вид, — проговорил он, как бы обращаясь к себе самому. Потом погладил щеку. — Кто это твердит мне, что я болен? — Услышав шаги Джейни, он погасил свет и вышел из ванной следом за ней. — Мне хотелось переломить спину этого Томпсона пополам. Выбросить его сквозь…

— Сквозь что?

— Забавно, — проговорил он, — я хотел сказать: выбросить его сквозь кирпичную стенку. Я так сконцентрировался на этой мысли, что буквально видел, как я выбрасываю его.

— Возможно, так оно и случилось.

Он покачал головой.

— Это была не стенка, а толстая стеклянная витрина.

— Вспомнил! — завопил он. — Я увидел его и захотел ударить. Он стоял на улице совсем рядом и глядел на меня, я не закричал, я прыгнул и… — Он поглядел на руку в шрамах и сказал с удивлением: — Развернулся, вмазал и разбил окно. Боже!

Он вялым движением сел.

— Вот за это самое я и попал в тюрьму. Валял-

ся в вонючей камере и гнил заживо. Не ел, не двигался, и мне становилось все хуже и тяжелее, ждал только конца.

— Но конец-то, я вижу, не настал?

Он поглядел на нее, на ее глаза, на ее рот.

— Нет, не настал, но только благодаря тебе. Ну а что ты скажешь о себе, Джейни? Что тебе нужно от меня, а?

Она опустила глаза.

— Ох, извини, извини, пожалуйста. Понимаю, это не слишком… — Он протянул к девушке ладонь, уронил руку, так и не прикоснувшись к ней. — Не знаю, что в меня вселилось сегодня. Просто я не могу понять тебя, Джейни. Разве я что-то делал для тебя и ты у меня в долгу?

Она улыбнулась:

— Вот так уже лучше.

— Но этого мало, — искренним тоном сказал он. — Где ты живешь?

Она указала:

— На другой стороне коридора.

— Так, — проговорил он, вспомнил ту ночь, которую провел в слезах, и со смущением отодвинул воспоминание на задворки памяти. Отвернулся, разыскивая новую тему разговора, любую тему. — Слушай, давай пройдемся.

— Хорошо. — Неужели он заметил в ее голосе облегчение?

Они покатались на «американских горках», полакомились сахарной ватой, потанцевали на открытой площадке. Он удивлялся вслух, где это научился так хорошо танцевать. Но о том, что его тревожило, не упоминал до позднего вечера. В тот день общество Джейни впервые по-настоящему радовало его, этот вечер был не рядовым днем в их жизни, в нем господствовала Возможность. Он никогда еще не видел ее такой веселой, стремящейся покататься на этом и том, попробовать то и это и пройти подальше, чтобы осмотреть, что такое там есть, не слышал такого задорного смеха.

Смеркалось. Опершись на перила балюстрады, они стояли возле озера и глядели на купающихся. На берегу там и сям сидели парочки. Гип улыбался, переводя взгляд от одной пары к другой, и готов был пройтись по их адресу, чтобы посмешить Джейни, однако, обернувшись, был остановлен странной завистью, смягчавшей ее напряженные черты. Эмоциональный порыв, неопределенный и деликатный, заставил его немедленно отвернуться. Отчасти это движение было порождено признанием ценности ее обра-

щения внутрь себя и нежеланием мешать ей; с другой стороны, он вдруг понял, что, полностью посвятив ему свою жизнь, она могла хотеть и чего-то другого. Это к нему жизнь вернулась со всеми своими целями и желаниями в тот самый день и час, когда Джейни вошла в его камеру. До этого мгновения ему даже в голову не приходило, что прожитая ею четверть века не была чистой страницей, как у него самого.

Почему, собственно говоря, она стала спасать его? Просто решила совершить благородный поступок? Но все-таки почему для этого выбрала именно его?

Что нужно ей от него? Нечто, погребенное в той, забытой его жизни? Если так, он безмолвно поклялся себе в том, что отдаст ей все, что она пожелает. Ведь нет и не может быть на свете вещи более ценной, нежели жизнь, которую она заново открыла для него.

Но что она ищет?

Взгляд его вновь обратился к вечернему пляжу, усеянному звездочками влюбленных пар; каждая — свой замкнутый мирок, в гармонии с остальными скользящий по своей собственной орбите… Влюбленные… ему приходилось ощущать на себе прикосновения любви. Память о

них пряталась в тумане, он не смог вспомнить, где, когда и с кем это было… но существовало же все это вместе с тем старым-старым рефлексом — *пока я не найду его и…* — однако мысль снова ускользнула от него. Чем бы ни было это неведомое, оно значило больше, чем любовь, брак, работа или полковничий чин. (Полковничий? Неужели когда-то он хотел стать полковником?)

Тогда, быть может, ее осенила любовь? Джейни влюбилась в него… увидела, была поражена чувством как молнией, возжелала его, и решила добиться таким вот способом. Ну и тогда! Если она хочет именно этого…

Зажмурив глаза, он представил себе ее лицо, голову, склоненную в полном ожидания внимательном молчании, сильные тонкие руки, гибкое тело, чарующий голодный рот. Перед умственным взором его пробежала последовательность кадров, отснятых камерой здорового мужского ума, однако занесенных в разряд архивных: очертания ног Джейни, обрисовавшихся на фоне окна под пестрым облачком ее цветастой свободной шелковой юбки. Джейни в крестьянской блузе, острое копье утреннего солнечного луча гнется и липнет к ее нагому плечу и мягким выпуклостям грудей. Джейни в танце, никнущая к нему

так, как если бы он и она были золотыми листиками электроскопа. (*где же это он видел… где работал… что это — электроскоп? Ах, конечно же! В…* — но мысль исчезает). Фигура Джейни, едва различимая в кипящей тьме, мерцающая белизной под пеленой нейлона, мешающейся с его едкими слезами… она держит его за руки, и он успокаивается.

Нет, Джейни не добивалась его — ни в неразлучных прогулках, ни в умиротворяющем покое совместных трапез, ни в долгом молчании вдвоем. Ни слово, ни жест, ни прикосновение не выдавали романтического увлечения. Любовь, даже потаенная и безмолвная, требует, жаждет, добивается. Джейни не требовала ничего. Она только… только ждала. И если она похоронила в его прошлом какую-то тайну, то не допытывалась — просто оставалась с ним рядом, чтобы не пропустить ее, если она вдруг вынырнет на поверхность. И если ей нужно нечто из того, чем он был, из того, что он делал, почему она не допытывается, не расспрашивает, не выведывает, как то делали Томпсон и Бромфилд? (*Бромфилд? А это еще кто такой?)*

Нет, здесь крылось нечто другое, — то, что заставляло ее глядеть на влюбленных с такой

сдержанной печалью. Так, должно быть, безрукий завороженно наблюдает за игрой скрипача.

Рот Джейни… яркий, спокойный, ждущий… Умные руки Джейни… тело Джейни, конечно же, гладкое, как ее же плечо, твердое, как ее же предплечье… бурное, жаждущее промелькнули перед ним.

Не сговариваясь, они повернулись друг к другу. Две шестеренки: она ведомая, он ведущий. И тогда дыхание покинуло их обоих и повисло между ними символом, обещанием, единое и живое. Целых два гулких удара сердца пробыли они единой планетой, в далеком космосе влюбленных, а потом лицо Джейни исказил порыв сосредоточенности — не затем, чтобы сдержать порыв, но скорее для того, чтобы добиться немыслимой точности суждения.

И с ним произошло нечто — словно шарик твердейшего вакуума вдруг возник внутри него. Гип снова вздохнул, и окружавшая их магия сгустилась и хлынула внутрь дыхания, заполняя вакуум, поглотивший и убивший чары — целиком, за долю мгновения. Оба не пошевелились, лишь по лицу ее пробежала короткая судорога. Солнце садилось, они стояли друг напротив друга, лицо ее было обращено вверх, к Гипу, тут пят-

нышко тени, здесь блик солнца, и все оно было озарено ее внутренним светом. Но чары, чувство слияния, исчезли. Их стало двое, вновь были он и она, так и не слившиеся в одно, и это была Джейни спокойная, Джейни терпеливая, Джейни не погасшая, но не воспламененная. Впрочем, нет — истинное различие крылось в нем самом. Руки его поднялись, чтобы обнять ее за плечи, но более не хотели этого делать, с губ исчез, куда-то делся и потерялся так и не родившийся поцелуй, он отступил:

— Пойдем.

По лицу Джейни пробежала и скрылась тень досады. Тень, слишком похожая на многое из того, что теперь досаждало ему: на эти гладкие и шероховатые вещи, вечно возникавшие под его кончиками пальцев, но никогда не дававшиеся ему. Гип почти понял ее сожаление, оно относилось к нему, оно было здесь — и исчезло, совсем исчезло — растаяло в вечернем полумраке.

Они молча вернулись на главную аллею — к свету жалких тысячесвечевых ламп, к аттракционам и суетливому оживлению вокруг них. Где-то вдали за горизонт опускался истинный свет, совершая единственное сколько-нибудь значащее движение. Пусть игрушечные пушки

палили теннисными мячиками в деревянные корабли, пусть вверх по склону бежали игрушечные собачки, пусть летели дротики в воздушные шарики… Подо всем этим Джейни и Гип погребли нечто сделавшееся настолько крохотным, что и холмика не осталось.

На специальном стенде стояла зенитная установка, со всеми поворотными устройствами, как настоящая. Можно было вручную прицелиться в искусственное небо из крошечной зенитной пушки, движения ее немедленно повторяла большая пушка на заднем плане. На полукуполе мелькали силуэты самолетов. Все вместе — и техника, и оформление — выглядело весьма соблазнительно и, надо думать, безотказно выуживало деньги.

Первым взялся за дело Гип. Сперва с легким недоумением, а потом с нарастающим и вовсе уж нескрываемым интересом он следил, как, повинуясь легким движениям его рук, ходил из стороны в сторону ствол массивной зенитной пушки в двадцати футах от него. В первый самолет он не попал, во второй тоже, но двух выстрелов ему вполне хватило, чтобы определить систематическую ошибку прицела, и он принялся по одной щелкать все цели, вылетавшие в небо аттракциона. Джейни, как девчонка, захлопала

в ладоши, служитель наградил Гипа памятным призом — глиняной в блестках статуэткой полицейского пса стоимостью едва ли не в пятую долю входного билета. Гип с гордостью принял подарок и пригласил Джейни попытать удачи. Уголком рта он шепнул ей:

— Целься на сорок в правом квадранте, капрал, иначе феи дегауссируют взрыватель.

Глаза Джейни чуть сузились, быть может, для того, чтобы точнее прицелиться. Она не ответила Гипу, но первую цель сразила, едва та успела показаться над искусственным горизонтом, вторую и третью постигла та же участь. Гип радостно хлопнул в ладоши и окликнул Джейни по имени. На какое-то мгновение показалось, что она берет себя в руки, странным усилием занятого человека, заставляющего себя вернуться в разговор. Следующую мишень она пропустила, а потом промахнулась четыре раза подряд. Сбила еще две — одну низко, а другую высоко и наконец в последний раз промахнулась на целую милю.

— Не слишком удачно, — трепетным голосом проговорила она.

— Отлично, — галантно возразил он. — А знаешь, в наши дни не обязательно попадать в самолеты.

— В самом деле?

— Да. Достаточно, чтобы снаряд взорвался рядом. Но какой же это унылый барбос…

Джейни перевела взгляд от его лица к статуэтке и хихикнула:

— Да уж, памятка на всю жизнь. Гип, ты весь перепачкался этими блестками. Знаешь что — может, лучше подарим ее кому-нибудь?

Они довольно долго бродили по парку, пока не отыскали лицо, истинно нуждающееся в подобной ценности, — одинокого мальца лет семи, меланхолично выжимавшего последние остатки масла и соли из кукурузной кочерыжки.

— А это тебе, — пропела Джейни. Ребенок, не обращая внимания на подарок, поднял к ней пугающе взрослые глаза.

Гип усмехнулся:

— Эх, сорвалось! — Он присел на корточки перед мальчишкой. — Давай-ка поторгуемся. Ты не возьмешься за доллар отнести эту штуку куда-нибудь с глаз моих?

Ответа не последовало. Мальчик обсасывал кукурузный огрызок и не отводил глаз от Джейни.

— Крепкий делец, — ухмыльнулся Гип.

Вдруг Джейни вздрогнула.

— Слушай, давай-ка оставим его в покое, — ска-

зала она, неожиданно посерьезнев.

— Этому типу *со мной* так просто не справиться, — добродушно возразил Гип. Он поставил статуэтку возле стоптанных ботинок мальчугана и затолкал долларовую бумажку в складку его одежды, наиболее похожую на карман. — Очень приятно было встретиться с вами, сэр, — проговорил Гип, пускаясь за Джейни.

— Ну и фрукт, — проговорил он, нагоняя спутницу. Гип оглянулся. Ребенок все еще глядел вслед Джейни, хотя они удалились уже на полквартала. — Похоже, он на всю жизнь запомнил тебя… *Джейни!*

Широко раскрыв глаза, девушка замерла:

— Ах, *чертенок*! — выдохнула она. — В таком-то возрасте! — И резко обернулась назад.

Глаза явно подвели Гипа: огрызок, как ему показалось, сам собой вырвался из грязных ладоней и, стукнув огольца по носу, шмякнулся о землю. Дитя отступило шага на четыре с весьма нелюбезным определением на устах и, закончив речь непечатным пожеланием, исчезло в аллее.

— Фью! — с уважением присвистнул Гип. — А зачем тебе такие длинные уши, бабулечка? — спросил он скорее для того, чтобы замять неловкость. — Я, кстати, ничего и не слышал, кроме

последнего коленца, которое он пустил.

— Не слышал? — переспросила она. Впервые в голосе ее почувствовалась явная досада. И все же он ощутил, что не является ее причиной Он взял Джейни за руку. — Пойдем-ка съедим что-нибудь, и все забудется.

Она улыбнулась, и все исправилось.

Потом была сочная пицца и холодное пиво в чересчур ярко-зеленом, местами облупившемся павильоне. Усталая и счастливая прогулка между темных уже павильонов к запоздалому автобусу, пыхтя, дожидавшемуся их на остановке. Чувство причастности, вызванное точным прилеганием спинного хребта к просчитанному кем-то профилю автобусного сиденья. Чередующаяся с улыбками общая на двоих дремота на скорости в шестьдесят миль в час, сквозь мерцающую огоньками ночь и наконец знакомая остановка на знакомой улице, пустой и безлюдной, но *моей* улице в *моем* городе.

Они разбудили дремлющего водителя такси и назвали адрес.

— Интересно, я полностью вернулся к жизни или мне предстоит что-то еще? — пробормотал Гип в своем углу сиденья и только потом понял, что она слышит его слова. — Получается так,

словно весь тот мир, в котором я жил, занимал когда-то небольшое место в моей голове, где-то в таких глубинах, что мне его было даже не видно. А потом ты сделала из него комнату, затем город, а сегодня что-то огромное, ну как… — И, не найдя нужного слова, он умолк.

Свет фар встречной машины на мгновение высветил ее улыбку. Он продолжил:

— Вот я и думаю, каким на самом деле может стать этот мир.

— Много большим, — ответила она.

Дремотно откинувшись на спинку сиденья, он пробормотал:

— Я отлично себя чувствую, — и со странной интонацией добавил: — Нет, Джейни, я… — голос его осекся. — Мне плохо.

— Ну, тебе лучше знать, — спокойно ответила девушка.

— О нет. — Напряженность пришла в его голос и оставила его, он усмехнулся. — Опять он. И он ошибается. Ошибается. Он больше не сумеет заставить меня почувствовать себя больным. *Водитель!*

Голос его хрустнул переломленной веткой. Шофер от неожиданности нажал на тормоза. Гипа кинуло вперед, он уперся рукой в спину шофера.

— Едем назад!

— Божемилостивыймилосердный, — пробормотал шофер, разворачивая такси.

Гип обернулся к Джейни с ответом, неопределенным, не до конца оформившимся, однако она не задала ему вопроса. Она сидела спокойно и, как всегда, чего-то ждала. Тогда Гип приказал водителю:

— Следующий квартал. Да, здесь. Налево. Еще раз налево.

Потом откинулся назад, припав щекой к стеклу, и внимательно приглядывался к темным домам на черных лужайках. Наконец произнес:

— Здесь. Вон тот дом с подъездной дорогой, там, где высокая живая изгородь.

— Подъехать к дому ближе?

— Нет, — отрезал Гип. — Остановитесь подальше… здесь, чтобы хорошо его видеть.

Остановив машину, водитель обернулся.

— Приехали. С вас доллар и…

– *Шшш!* — звук получился настолько резким, что водитель остолбенел.

Через прореху в изгороди, пропускавшую в себя подъездную дорогу, Гип вглядывался в очертания неярко освещенного белого здания, осматривал строгий фасад, козырек над входом, опрятные

ставни, дверь под полукружьем окна.

— Теперь едем домой, — проговорил он наконец.

На обратном пути никто не проронил ни слова. Гип ладонью закрывал виски, притеняя глаза. В уголке, который занимала Джейни, было темно и тихо.

Когда машина остановилась, Гип рассеянно помог Джейни выйти на дорожку. Он передал шоферу банкноту, получил сдачу, отсчитал и вернул тому чаевые. Такси отъехало.

Гип замер, уставившись на деньги, пальцем передвигая на ладони монетки.

— Джейни?

— Да, Гип.

Он посмотрел на нее. Лицо девушки растворялось во тьме.

— Что ж, войдем.

Они вошли в дом. Гип включил свет. Джейни сняла с головы шляпку, повесила сумочку на спинку кровати, уселась, сложив руки на коленях. Она ждала.

Он так углубился в себя, что казался ослепшим. А потом стал медленно пробуждаться, не отводя взгляда от лежавших на ладони монеток. Какой-то момент казалось, что он не усматривает

в них ни малейшего смысла; а потом неспешно, не сразу осознал их значение, учел в своих размышлениях, итог которых отразился на его лице. Он сжал деньги в кулак, потряс им, а потом выложил перед Джейни на ночной столик — три скомканные купюры, горсточку серебра.

— Они не мои.

— С чего ты это взял?

Он устало качнул головой.

— Нет, они не мои. И никогда не были моими. И те, что потрачены на карусели, и на все эти покупки, даже на кофе по утрам. Считаю, что это взаймы.

Она молчала.

— Тот дом, — рассеянно проговорил он, — я был в нем. Как раз перед самым арестом. Это я помню. Тогда у меня не было ни гроша. Я постучал в дверь, грязный, свихнувшийся, а мне скомандовали «кругом», чтобы не попрошайничал. Не имел я тогда никаких денег. Я точно помню. У меня только и было, что… — Из кармана на свет явилась плетеная трубка, блеснула в свете лампы. Зажав ее в пальцах, он указал на ночной столик. — Но с первого же дня, как я здесь оказался, у меня завелись деньги. Каждый день, в левом кармане пиджака. Прежде я не задумывался над этим. Это

ведь твои деньги, Джейни?

— Твои. Забудем об этом, Гип. Это совершенно не важно.

— Что ты хочешь этим сказать? — отрубил он. — Они мои, потому что ты дала их мне?

Пронзительным лучом гнева он попытался прорезать темноту ее молчания.

— Так, наверно?

— Гип!

Он тряхнул головой, резко, внезапно, не имея другой возможности выразить тот порыв, который раздирал его в этот момент. В нем был гнев, унижение, яростная атака на ту тьму, в которой тонуло его прошлое. Он рухнул в мягкое кресло. И прикрыл лицо руками.

Потом ощутил — она рядом, и ладонь ее легла ему на плечо.

— Гип… — прошептала Джейни. Он дернулся, и ладонь исчезла. Послышался легкий звон пружин — Джейни вновь опустилась на постель.

Он неторопливо отвел руки от лица, обиженного, оскорбленного.

— Пойми, я злюсь не на тебя, я очень благодарен тебе за все, что ты сделала для меня. Дело не в этом. Что-то не так, — выпалил он. — Я опять запутался: что-то делаю, а почему, сам не знаю.

Просто приходится — вот и делаю неизвестно что. Словно… — Он умолк, чтобы подумать, уловить нечто целое в тысячах обрывков, на которые вихрь безумия растерзал его «я». — И ведь знаю, что поступаю плохо, что не следует мне жить здесь, есть за чужой счет, получать деньги неизвестно за что… И… я же говорил тебе, что должен найти кого-то, но зачем, почему — не знаю. Вчера я сказал… — Он умолк, и в комнате какое-то время слышно было только свистящее дыхание, исходившее между его зубов, между напряженных губ. — Я сказал сегодня тебе, что мой мир, место, где я живу, — все время становится все больше и больше. Теперь оно уже вмещает в себя тот дом, возле которого я остановил такси. Я вспомнил, что был там уже, измученный, и постучал, а мне велели убираться восвояси. Я кричал на них, а потом пришел кто-то еще. Я спросил их, я хотел узнать о…

Вновь молчание, вновь свист воздуха сквозь щель между зубами.

— …детях, что жили там. Но у них не было никаких детей. И я вновь кричал, все переполошились, а я чуть успокоился. Я просил их просто сказать мне, объяснить, обещал, что уйду, я не хотел никому угрожать. Я сказал: хорошо, детей

нет, тогда разрешите мне переговорить с Алисией Кью, скажите мне, где она.

Он выпрямился и с горящими глазами указал на Джейни трубкой.

— Видишь? Я помню имя — Алисия Кью! — Он осел назад. — А мне говорят: «Алисия Кью умерла». А потом говорят: «Ох, да, после нее остались дети!» И объясняют, где их искать. Записали, а я куда-то засунул бумажку… — Он принялся копаться в карманах, вдруг остановился и поглядел на Джейни: — Она была в старой одежде, это *ты* спрятала ее, да?

Если бы она объяснила, если бы ответила, все было бы в порядке, но она только наблюдала за ним.

— Ну хорошо, — процедил он сквозь зубы. — Вспомнил одно, вспомню и другое. А может, просто вернуться туда и спросить? Ты мне не нужна для этого.

Выражение на ее лице не изменилось, однако, посмотрев на Джейни внимательно, он понял, каких усилий стоит ей это спокойствие. И с сочувствием проговорил:

— Нет, ты мне нужна. Без тебя я уже умер бы. Ты была… — Так и не сумев отыскать подходящего слова для описания ее роли в его жизни, он пре-

кратил поиски и продолжил: — Просто я хотел сказать, что раз уж я нашел этот дом, то могу дальше действовать самостоятельно. Выяснить мне осталось немного, и я должен сделать это сам.

Наконец она заговорила:

— Ты все сделал сам, Гип. Ты самостоятельно прошел всю дорогу. Я просто поставила тебя в то место, из которого ты мог это сделать. Не более того. И я хочу и впредь помогать тебе.

— Теперь это уже не обязательно, — уверил ее Гип. — Теперь я уже большой мальчик. Я прошел большой путь и остался в живых. Выяснить осталось немногое.

— Но не так мало, как тебе кажется, — с грустью проговорила она.

Он утвердительно кивнул:

— Говорю тебе — я *знаю*! Я узнал о детях, узнал об этой Алисии Кью, узнал о том, что все они перебрались куда-то. Остается узнать, куда именно — это было уже в самом конце, это было то самое место, к которому я притронулся пальцами, но не успел схватить… Осталось одно-единственное место, адрес, по которому проживают сейчас эти дети. Там и будет он…

— Он?

— Он…Тот самый, которого я ищу. Его зовут, —

он вскочил на ноги, — его зовут... — Он стиснул пальцы в кулак и нанес им убийственный удар в пространство, а потом прошептал: — Но я забыл, как именно его зовут.

Гип запустил пятерню в короткие волосы на затылке и в сосредоточении уставился на потолок. А потом расслабился.

— Ну ладно, теперь я все равно найду его.

— Сядь, — распорядилась Джейни. — Сядь, Гип, и выслушай меня.

Он нерешительно сел и с укоризной поглядел на нее. В голове теснились уже почти понятные картинки и фразы. Он думал: *Почему она не может оставить меня в покое? Почему не хочет позволить мне немного подумать?* Просто потому что она...

И потому что это была Джейни, он стал ждать.

— Ты прав, теперь ты в силах это сделать, — проговорила она, медленно, старательно подбирая слова. — Можешь хоть завтра отправиться туда, получить адрес и найти этот дом, который ты ищешь. Только поверь мне: все, что ты узнаешь, ничего не скажет тебе. Поверь мне, Гип, я *знаю* это!

Он рванулся к ней, схватил за руки, поднял на ноги лицом к себе.

— Ты знаешь! — завопил он. — Ей-богу знаешь, ты знаешь все во всех подробностях, так ведь? Все до последней подробности! Я теряю рассудок, пытаясь выяснить, а ты сидишь и наблюдаешь, как я корчусь!

— Гип! Гип, мои руки…

Он стиснул их еще сильнее, тряхнул.

— Значит, ты действительно *знаешь*, так ведь? Знаешь все обо мне?

— Пусти меня, пожалуйста, пусти! Ох, Гип, ты не ведаешь, что творишь!

Он бросил ее на постель. Джейни подтянула ноги, повернулась на бок, подперла голову локтем, и посмотрела на него сквозь слезы, немыслимые слезы, слезы, которые не могли принадлежать тем Джейни, с которыми он был знаком. Она протянула к нему помятую до синяков руку.

— Ты не знаешь, — задохнулась она, — чего добиваешься…

А потом, еще тяжело дыша, притихла, посылая ему сквозь немыслимые слезы какую-то огромную мучительную и раздвоенную весть, которую он не мог прочитать.

Гип неловко опустился на колени возле постели.

— Ах, Джейни, Джейни!

Губы ее шевельнулись. Получившуюся гримасу сложно было назвать улыбкой, однако она хотела ею стать. Прикоснувшись к его волосам, Джейни вздохнула:

— Все хорошо.

Она уронила голову на подушку и закрыла глаза. Гип, скрестив ноги, уселся на пол, положил руки на край кровати и опустил на них голову.

Не открывая глаз, она проговорила:

— Я понимаю тебя, Гип, понимаю и хочу помочь тебе, я хочу и дальше помогать тебе.

— Это не так, — возразил он не с горечью, но из глубин чувства, чем-то похожего на горе.

Он ощущал — быть может, по ее дыханию, — что снова заставил ее плакать. Но сказал:

— Ты знаешь обо мне все. Знаешь и то, что я ищу.

Слова его прозвучали обвинением, и он пожалел об этом. Он хотел всего лишь высказать свои аргументы.

— Разве не так?

Не открывая глаз, она согласно качнула головой.

— А значит…

Тяжело поднявшись, он вернулся в кресло. *Когда ей от меня что-нибудь надо, она садится*

и ждет, подумал он не без ехидства. И опустившись в кресло, посмотрел на нее. Джейни не шевельнулась. Сделав над собой усилие, он постарался изгнать горечь из своих мыслей, оставив только смысл и совет. Настал его черед ждать.

Она вздохнула и села. Растрепанные волосы и зардевшиеся щеки пробудили в нем нежность. Он сурово одернул себя.

Джейни проговорила:

— Тебе придется верить мне на слово. Придется поверить мне, Гип.

Он медленно покачал головой. Она потупилась, сложила руки. Потом подняла ладонь, прикоснулась к краешку глаза тыльной стороной кисти.

— Видишь этот кусочек кабеля? — спросила она.

Трубочка оставалась на полу, там, где он ее выронил. Гип поднял ее.

— Ну и что?

— Когда ты впервые вспомнил, что она принадлежит тебе?

Он задумался.

— Около дома… когда я пришел к тому дому и спросил.

— Нет, я не про то, что было до твоей болезни.

— Ах так. — Он ненадолго зажмурил глаза,

нахмурился. — Окно. В тот миг, когда я вспомнил про то, как разбил окно. Я вспомнил об этом. А потом он… Ох! — отрывисто воскликнул он. — Тогда ты положила кабель мне в руку.

— Правильно. Восемь дней я вкладывала его тебе в руки. Один раз — в ботинок. Подкладывала на тарелку, в мыльницу. Щетку зубную в него однажды поставила. Каждый день не менее полдюжины раз, Гип!

— Я не…

— Правильно, не понимаешь. Я не могу тебя в этом винить.

— Да я не про это, а про то, что не в силах поверить тебе.

Она наконец поглядела на него, и тут он осознал, насколько привык к этим обращенным на него внимательным глазам.

— Это действительно так, Гип. Так оно и было.

Он нерешительно кивнул.

— Хорошо. Раз ты так говоришь. Но какое отношение это имеет к…

— Подожди, — попросила она. — Сейчас поймешь… каждый раз, прикасаясь к этому куску кабеля, ты отказывался признать его существование. Просто разжимал пальцы, не хотел даже видеть, как он падает на пол. Наступал босой но-

гой и не ощущал этого. Гип, однажды я положила его тебе в тарелку вместе с фасолью. Ты поднес эту штуку к губам, положил в рот, а потом просто выплюнул. Ты не хотел ощущать ее.

— Ок… — начал он с некоторым усилием, — это окклюзия. Так это называл Бромфилд.

А кто такой Бромфилд? — но мысль ускользнула — ведь Джейни еще не договорила.

— Правильно. Слушай теперь внимательно. Когда настало время, окклюзия начала исчезать и исчезла, а ты остался с кусочком кабеля в руке, уже зная, что он существует. Однако я ничего не могла сделать ради этого момента до того, как он самостоятельно вызрел!

Он задумался.

— Так. А почему же это наконец случилось?

— Ты вернулся.

— В магазин, к стеклянной витрине?

— Да, — отозвалась она и тут же поправилась: — Нет. Я хочу сказать вот что: в этой комнате ты ожил, ты и сам говорил: твой мир начал расти, вместил сперва комнату, потом улицу, потом город. То же самое происходит с твоей памятью. Сначала она сумела принять вчерашний день, потом неделю, а потом тюрьму и то, что было до нее. Смотри теперь сам: до тюрьмы кабель озна-

чал для тебя нечто потрясающе важное. Но потом что-то произошло, и с тех пор он вовсе перестал что-либо значить. Пока новая твоя память не сумела дотянуться и до этого времени. И тогда кабель вновь сделался реальным.

— Ого, — только и мог воскликнуть он.

Она посмотрела вниз.

— Я знала об этой оплетке. И могла бы сама все тебе рассказать. Но ты не был к этому готов. Да, ты прав: сейчас я знаю о тебе много больше, чем ты сам. Но разве это не понятно: если я тебе все расскажу, *ты не сумеешь услышать меня*.

Он покачал головой не с недоверием, но как бы завороженно.

— Но я ведь уже не болен!

Он прочитал ответ на ее выразительном лице.

— Опять мимо? — гнев снова зашевелился в его сердце. — Ладно, валяй дальше. Кстати, я не оглохну, если услышу от тебя, какой институт окончил.

— Конечно, нет, — нетерпеливо продолжила она. — Просто все это ничего в тебе не разбудит, никаких ассоциаций, воспоминаний. — Она закусила губу. — Вот и пример. Ты успел с полдюжины раз упомянуть фамилию Бромфилд.

— Какую-какую? Да нет же!

Она остро глянула на него.

— Ошибаешься, Гип. Ты назвал это имя минут десять назад.

— Разве? — Он задумался. Надолго задумался. А потом изумленно округлил глаза: — Боже мой! А ведь и в самом деле назвал.

— Хорошо, кто этот человек? Откуда ты его знаешь?

— Кого?

— Гип, — резко одернула она.

— Извини, — пробормотал он, — кажется, я немного запутался. — Он вновь погрузился в раздумья, пытаясь восстановить последовательность мыслей. И наконец с трудом выдавил: — Б-бромфилд.

— Сейчас фамилия пришла к тебе из далекого прошлого. И имя это ничего не будет для тебя значить, пока память не вернется назад и…

— Вернется назад? Как это?

— Разве ты сейчас не возвращаешься — от болезни к дням заключения и аресту, к тому, что было прежде, к визиту в тот дом? Подумай об этом, Гип, подумай, вспомни, зачем ты туда пошел.

Он нетерпеливо отмахнулся.

— Мне это не нужно. Разве ты не понимаешь? Я

пошел в этот дом, потому что что-то искал… что именно, кстати? Ах да, дети, какие-то дети… они могли сказать мне, где искать полудурка. — Он подскочил со смехом. — Видишь? И про полудурка вспомнил. Я еще все вспомню, вот увидишь. Полудурок… я искал его столько лет, наверное, целую вечность. Правда, я забыл — зачем, но… — проговорил он крепнущим голосом, — теперь мне это не кажется важным. Я просто хочу тебе сказать, что необязательно проделывать весь путь назад. Я уже сделал все необходимое. Значит, завтра я иду в тот дом, спрашиваю у них адрес и сразу же отыскиваю то, что…

Он запнулся, озадаченно огляделся, заметил кусок оплетки на ручке кресла и подхватил ее.

— Вот, — торжественно произнес он. — Это же часть… ах ты, черт! — чего же именно?

Она подождала, пока он достаточно успокоится, чтобы услышать ее, потом сказала:

— Ну теперь видишь?

— Что — вижу? — выдавил он надломленным, невнятным и жалким тоном.

— Если ты завтра отправишься, то попадешь в непонятную тебе ситуацию, по причине, которой не помнишь… тебе придется спрашивать незнакомцев о неизвестном, чтобы узнать то, что

ты не в состоянии понять. Но, с другой стороны, ты прав, — признала она, — теперь тебе это по силам.

— А если я это сделаю, — спросил он, — тогда все вернется?

Она покачала головой, и он с легкой хрипотцой проговорил:

— Ты же у нас все знаешь, разве не так?

— Да, Гип.

— Впрочем, мне все равно. Я намереваюсь обязательно сделать это.

Она глубоко вздохнула.

— Ты погибнешь.

— Что?

— Если ты придешь к этому дому, то погибнешь, — проговорила она. — Ох, Гип, разве до сих пор я обманывала тебя? Скажи мне? Разве память отчасти уже не вернулась к тебе… вернулась по-настоящему, чтобы никогда более не ускользнуть?

С мукой в голосе он произнес:

— Ты говоришь мне, что завтра я могу выйти из этой двери и отыскать то, что давно ищу. Но ищу ли? Скорее ради чего живу! И ты говоришь мне, что эта находка убьет меня. Чего же ты добиваешься от меня? Что, по твоему мнению, я

должен делать?

— Потерпеть еще немного, — попросила она.

— Чего же ради? — вспыхнул он. — Чтобы я возвращался в своей памяти назад, уходя в прошлое от того, что мне нужно? По-твоему, ты мне желаешь добра?

— Немедленно прекрати, — резко сказала она. И, к собственному удивлению, Гип умолк.

— Еще одна минута, и ты протрешь в этом коврике дырку, — проговорила она с сочувствием и даже некоторой долей веселья. — Это тебе не поможет.

Он попытался уклониться от этой веселой нотки, однако она оказалась неотразима. Он позволил ей прикоснуться к себе и отбросил уже потом, уже ощутив ее прикосновение. Гип проговорил уже более сдержанным тоном:

— Ты пытаешься сказать, что я вовеки не должен искать этого полудурка и его… не знаю что?

— Ну что ты, — проговорила она, вкладывая едва ли не всю душу в отрицание. — Нет-нет, Гип, ты найдешь то, что ищешь, обязательно найдешь, только сначала вспомни, что ищешь, и пойми, зачем тебе это нужно.

— Сколько же времени уйдет на это?

Она неопределенно качнула головой:

— Не знаю.

— Я не могу ждать. Завтра… — Он ткнул пальцем в окно. Начинало светлеть. — То есть сегодня же. *Сегодня*, понимаешь? Я могу быть в этом доме *сегодня*… Я должен… пойми, как много означает эта вещь и как давно я ищу ее…

Он умолк и резко обернулся к ней.

— Ты говоришь, что меня убьют, когда я все узнаю. Да, пусть убивают, только бы выяснить. По крайней мере, буду знать, что прожил не зря.

Джейни бросила на него трагический взгляд.

— Гип…

— Нет! — отрезал он. — Ты меня не отговоришь.

Она начала говорить, умолкла, склонила голову. Ниже и ниже, пока не уткнулась лицом в покрывало.

Гип яростно расхаживал взад и вперед по комнате, а затем остановился возле нее. Лицо его смягчилось.

— Джейни, помоги мне…

Девушка лежала недвижно, но Гип видел, что она слушает.

— Если там меня поджидает опасность… если что-то или кто-то попытается убить меня, скажи, чего мне ждать. По крайней мере, я буду преду-

прежден.

Джейни повернулась лицом к стене, так что он мог только слышать ее, но не видеть. И усталым голосом проговорила:

— Я не говорила, что тебя там убьют. Я сказала, что ты *погибнешь*.

Гип долго стоял над ней, а потом буркнул:

— Ладно. Пусть так. Спасибо тебе за все, Джейни. Иди-ка лучше к себе.

Неторопливо, с предельной усталостью, словно ее только что выпороли, она выбралась из постели. А потом повернулась к нему с такой неподдельной жалостью и печалью на лице, что сердце его стиснула боль. И все же он поджал губы и кивнул в сторону двери.

Джейни вышла, не обернувшись, бессильно волоча ноги. Зрелище это было выше его сил. И все же он позволил ей уйти.

Постель была чуть помята. Неторопливо пройдя по комнате, он уставился на покрывало. Опустил на него ладонь, а потом повалился вперед и зарылся в него лицом. Ткань еще сохраняла тепло ее тела. И на кратчайшее в своей неопределенности мгновение он ощутил нечто на тему о слившихся воедино дыханиях, о сливающихся воедино двух завороженных, обращенных друг

к другу душах. Однако мгновение покинуло его, тема исчезла, оставив без сил.

Давай-давай, иди болей. Свернись клубком и умри.

— Ладно тебе, — прошептал он.

А что, можно. Какая на самом деле разница. Умрет он или его убьют, кого это волнует?

Только не Джейни.

Зажмурив глаза, он увидел перед собой рот. Который мог бы принадлежать Джейни, как он подумал сначала, если бы подбородок не оказался настолько острым. Рот сказал ему: *ложись и помирай, всего-то делов*. После чего улыбнулся. Улыбка заставила свет отразиться от толстых стекол очков, что означало, что он видит все лицо. А потом пришла боль настолько острая и быстрая, что он дернул головой и застонал. Боль шла от руки. Он посмотрел на руку и увидел на ней эти шрамы, вдруг родившие такую острую и бодрящую боль. *Томпсон, я должен убить этого Томпсона*. Но кто такой Томпсон, кто такой Бромфилд и кто этот полудурок из своей пещеры… пещера, где находится эта пещера с детьми… нет, не с детьми, а с *детской*… с чем же детской… ах да, с одеждой… Одеждой! Вот оно! Одеждой старой, грязной, рваной, но как он нашел ее…

Джейни… Ты погибнешь. *Ложись и помирай.*

Глаза его закатились, нервное напряжение оставило его в ползучей летаргии. Не такая уж приятная вещь, но все же лучше, чем подобное чувство. Кто-то сказал:

— На сорок или выше в правом квадранте, капрал, иначе феи дегауссируют твой взрыватель.

Кто это сказал?

Он сказал. Он, Гип Бэрроуз.

И кому же он это сказал?

Джейни, ловко обходившейся с моделью помпома.

Он даже фыркнул: ну какой из Джейни капрал. Действительность — не самый приятный из миров, лейтенант. Но мы любим считать, что созданы для нее. Согласно точному и прекрасному проекту, образцовому проекту с точки зрения любого инженера. Затащи в нее наваждение, и действительность не потерпит ее. Что-то всегда должно отдавать; если царит реальность, твой изысканный образчик инженерного искусства не имеет объекта приложения своих сил. Ибо таковой не был спроектирован. И посему действует из рук вон плохо. Поэтому дай пинка наваждению, действуй согласно проекту, по которому был изготовлен. Кто же это сказал? Ах да — Бром-

филд. Это ничтожество! Этому типу следовало бы хорошенько подумать, прежде чем начинать толковать об инженерном деле с инженером.

— Кэптэн Бромфилд (с усталостью в двадцатую чертову тысячу раз), если бы я не был инженером, то не отыскал бы эту штуковину, никогда не распознал бы ее, и сейчас она ни на цент не волновала бы меня. — Ах, это ничего не значит.

Это ничего не значит. Просто свернись клубком и, пока не явился Томпсон… Просто свернись клубком и…

— О нет, — рявкнул Гип Бэрроуз. Вскочив с постели, он остановился, раскачиваясь, посреди комнаты. Прижав ладони к глазам, он гнулся, как юное деревце под прикосновением бури. Застряв посреди всей этой путаницы — голоса Бромфилда, лица Томпсона, пещеры, полной заношенной детской одежонки, Джейни, желавшей ему смерти, он все-таки был уверен в одном, более того, он *знал* это. Никакой Томпсон более не заставит его смиренно лечь на бок и умереть. Джейни избавила его от этой участи!

Раскачиваясь, он скулил:

— Джейни…

Джейни не хотела его смерти.

Джейни не хотела, чтобы его убили; в чем же

тогда дело? Джейни всего лишь хочет, чтобы он вернулся назад, чтобы вспомнил. И подождал.

Он посмотрел на заметно посветлевшее окно.

Подождать? Что ж, сегодня он, возможно, сумеет получить этот адрес, увидеть этих детей, найти этого полудурка и… хорошо, он найдет его, но это ли ему нужно на самом деле? *Сегодня*. Тогда, видит бог, он покажет Бромфилду, что такое наваждение!

Если он останется жив, то все докажет Бромфилду.

Но нет, Джейни хотела, чтобы он пошел другим путем, вернулся назад. Но насколько? В те голодные годы, когда никто не верил ему, никто не помогал ему, голодному и замерзшему, ищущему и не находящему крохотного ключа и замочка к нему: адреса того дома с козырьком над входом, который он прочел на листке бумаги в пещере с детской одеждой… В пещере.

— В пещере, — громко проговорил Гип и выпрямился.

Он отыскал пещеру. Там, среди детской одежды, обнаружился скатанный в трубку грязный листок с адресом, который привел его к этому самому дому, находящемуся в этом самом городе.

Он сделал еще один шаг назад, большой шаг в

свое прошлое, он уже не сомневался в этом. Вещь, которую он обнаружил в пещере, доказывала, что все ему вовсе не померещилось, как утверждал Бромфилд: в руках у него было теперь доказательство! Он схватил эту плетеную трубочку и принялся гнуть и сжимать ее — серебристую, легкую, со сложным плетением. Конечно, *конечно* же! Кусок оплетки того кабеля он нашел именно в пещере. И теперь держал в руках.

Возбуждение охватило Гипа. Джейни все твердила: «Надо вернуться, вспомнить!» — а он считал, что такой путь окажется слишком долгим. Но много ли времени потребовал у него этот шаг, на второе открытие пещеры со всеми ее сокровищами?

Гип поглядел в окно. Чуть больше получаса, сорок минут, не больше. Все перемешалось в душе его: усталость, гнев, чувство вины и боль. Но что, если взяться по-настоящему за этот процесс возвращения, отдохнуть, поесть, освежить ум, заручиться поддержкой Джейни?

Он подбежал к двери, распахнул ее настежь, одним прыжком пересек коридор и одним махом открыл противоположную дверь.

— Джейни, послушай, — выкрикнул он, еле сдерживая дикое возбуждение. — Ой, Джейни… —

и резко осекся. Он успел влететь в комнату футов на шесть, и теперь ноги сами собой, заплетаясь и спотыкаясь, понесли его обратно. — Прошу прощения, извините *меня,* — растерянно проблеял он, преодолевая переполнявшее смущение. Он уткнулся спиной в дверь, захлопнул ее, истеричным образом повернулся, нащупал ручку и вылетел в коридор. «Боже, — думал он, — почему она сама не *сказала*». Спотыкаясь, он тащился к себе в комнату — обессилев, как отзвеневший гонг. Потом закрыл за собой дверь, запер ее и привалился к ней. Откуда-то донесся скрипучий смущенный смешок… Против собственной воли он повернулся к запертой двери. Попробовал выбросить из головы то, что осталось на другой стороне коридора, за другой дверью, и не сумел: вся картина отчетливо предстала перед ним. И он вновь расхохотался, побагровев от смущения и неловкости.

— Могла бы и сказать, — пробормотал он.

Серебристая трубка вновь привлекла его внимание. Взяв ее в руки, Гип уселся в большое кресло. Кусок оплетки кабеля помог забыть о смущении, напомнил о более важных вещах. Надо увидеть Джейни, поговорить с ней. Быть может, это безумие, но она должна понять: нужно найти

способ вернуться назад поскорее, как следует поторопиться, чтобы еще сегодня разыскать полудурка. Возможно, это безнадежно, но Джейни… Джейни-то знает. Придется ждать. Она появится, когда будет готова, куда ей деться.

Он устроился в кресле, как можно дальше вытянул вперед ноги и запрокинул голову на спинку кресла. Усталость блаженной дымкой окутала Гипа, туманя глаза, щекоча ноздри.

Трах-тах-тах-тах-тах-тах-тах-тах.

(Пятидесятый калибр, — подумал он, — там, где-то в горах. Мечта всей жизни любого мальчишки, в жилах которого течет красная кровь, — раздобыть автомат и поливать из него от пуза веером, как из шланга).

— Вам-вам-вам-вам!

(Эрликоны! Откуда они их раздобыли, эту рухлядь? Это батарея пом-помов или музей?)

— Гип! Гип Бэрроуз!

(Боже! Ну когда этот капрал научится обращаться к нему по уставу, как к лейтенанту? Не то чтобы меня это как-нибудь волновало, однако если он однажды не сумеет соблюсти субординацию в присутствии одного из этих недорослей в чине полковника ВВС, мы оба получим за это хорошую трепку).

— Вам! Вам!

— Ну, Гип.

Он сел, потирая лицо руками, стук пулеметов превратился в дробь пальцев по деревянной двери. Никакой не капрал, а сама Джейни звала его из коридора. База противовоздушной обороны растаяла, исчезла, унесенная обратно на фабрику снов.

— Гип!

— Входи, — скрипнул он, — входи же!

— Дверь заперта.

Что-то пробормотав, он неловко поднялся на ноги. Солнечные лучи пронизывали занавески насквозь. Покачиваясь, он подошел к двери и отпер ее. Глаза его не могли открыться, а зубы на вкус напоминали рядок сигарных окурков.

— О Гип!

Увидев за плечом Джейни другую дверь, он вспомнил о ночном приключении. Поманил ее к себе и закрыл за ней дверь.

— Вот что, мне очень стыдно за свое вчерашнее поведение. Я вел себя как последний дурак.

— Не стоит извинений, Гип, — сказала она шелковым голосом. — Я не обиделась, ты понимаешь это. Ты в порядке?

— Глаз продрать не могу, — признался он сму-

щенно. — Подожди немного, плесну воды в лицо и, может, проснусь. — И уже из ванной комнаты крикнул: — А ты где была?

— Гуляла. Мне надо было подумать. А потом караулила снаружи. Боялась, чтобы ты все-таки… ну понимаешь. Я хотела тогда последовать за тобой, не оставлять одного. Решила, что в случае чего могу помочь. Но с тобой действительно все в порядке?

— Ага. Только я никуда не собираюсь выходить без твоего совета. Но сперва о другом — а с *ней* все в порядке?

— Что?

— По-моему, для нее это было даже большим потрясением, чем для меня. Я не знал, что с тобой кто-то живет, иначе я бы не вломился…

— Гип, о чем ты говоришь? Что случилось?

— Ох, — вздохнул он. — Значит, ты пришла прямо сюда, не побывав в своей комнате.

— Нет. Но что ты имеешь в виду?

Он ответил, чуть покраснев:

— Мне хотелось, чтобы она тебе сама обо всем рассказала. Вчера мне отчаянно понадобилось видеть тебя. Ну я и дернул через весь коридор и ввалился к тебе, не имея представления, что в твоей комнате может оказаться кто-то еще. Сло-

вом, я уже оказался на середине комнаты, когда заметил, что там стоит твоя подруга.

— Кто? Гип, говори, ради бога!

— Какая-то девушка. Ты не можешь не знать ее, Джейни. Жулики по домам нагишом не ходят.

Джейни неторопливым движением прикрыла рот ладонью.

— Цветная девушка. Молодая.

— А что она… делала?

— Не знаю, чем она там занималась, потому что не стал подробно рассматривать ее — если в этом она найдет хоть какое-то утешение. Я немедленно пробкой вылетел оттуда. Мне очень жаль, Джейни: я понимаю, что произошла неловкость, однако ничего страшного, на мой взгляд, не случилось. Джейни! — в тревоге воскликнул он.

— Он отыскал нас. Придется убираться отсюда, — прошептала она. Губы ее побелели, руки дрожали. — Пойдем же, пойдем же скорее!

— Подожди, Джейни! Дай сказать. Я…

Она бросилась на него бойцовым петушком, произнося слова с такой скоростью, что между ними практически не было пауз:

— Ничего не говори! Не спрашивай ни о чем. Я тебе ничего не скажу, все равно не поймешь. Просто мы уходим отсюда, исчезаем.

Ладонь ее легла ему на руку и с удивительной силой повлекла за собой. Он сделал два торопливых шага за Джейни просто для того, чтобы не растянуться на полу. Пока он заканчивал второй шаг, она оказалась уже у двери и отпирала ее; ухватив свободной рукой Гипа за рубашку, она подтолкнула его вперед — к выходу на улицу. Он зацепился за косяк: гнев и удивление, соединившись в упрямстве, заставили его остановиться. Ни одно произнесенное ею слово не могло бы заставить его, настороженного и напряженного, сойти с места. Даже неожиданно проявленная ею сила могла только спровоцировать ответный удар. Однако Джейни ничего не сказала и никак не притронулась к нему; побелевшая и подвывающая от ужаса, она сбежала мимо него по ступеням.

Тогда Гип сделал то единственное, что могло — без колебаний и раздумий — сделать его тело. Он оказался снаружи, чуть позади нее.

— Джейни…

— Такси! — закричала она.

Машина не успела толком остановиться, а Джейни уже распахнула дверцу. Гип ввалился в салон следом за ней.

— Поехали, — бросила она шоферу, с беспокой-

ством оборачиваясь к заднему окошку.

— Куда поехали? — водитель был озадачен.

— Просто поехали. Живо!

Гип присоединился к ней у окошка. Из него были видны удалявшийся фасад дома и пара озадаченных пешеходов.

— В чем дело? Что случилось?

Джейни только покачала головой.

— Скажи же что-нибудь. Дом вот-вот взорвется или случится что-нибудь еще в этом роде?

Она снова покачала головой, после чего отвернулась от окна и вжалась в уголок сиденья, защемляя белыми зубами кожу на тыльной стороне ладони. Он осторожным движением отвел ее руку ото рта. Джейни не сопротивлялась.

Он еще дважды заговаривал с ней, однако Джейни всякий раз не отвечала, а только кивала в знак того, что слышит его, и после этого чуть отворачивалась в сторону. Наконец он сдался, откинулся на спинку сиденья и стал следить за ней.

Уже за городом, на развилке дорог, водитель нерешительно спросил:

— Так куда же теперь?

И Гип ответил ему:

— Налево.

После чего Джейни вынырнула из глубин оцепенения, бросила на него короткий благодарный взгляд и опять скрылась в каких-то задних комнатах за фасадом лица.

Наконец в ней, в ее необъяснимой манере, начало обнаруживаться какое-то изменение, хотя она по-прежнему безмолвно смотрела в пустое пространство.

— Ну как, полегчало? — тихо спросил он.

Она повернулась к нему лицом и с некоторым опозданием увидела его. Печальная улыбка изогнула уголки ее губ.

— Во всяком случае, хуже не стало.

— Ты боишься, — проговорил он.

Она кивнула.

— И я тоже, — отозвался он, ощущая, как застыло его лицо.

Она прикоснулась к его руке.

— Ох, Гип, мне очень жаль. Ты даже не представляешь, насколько мне жаль. Я не ожидала, что это произойдет, во всяком случае, так скоро. И я боюсь, что ничего с этим поделать уже нельзя.

— Почему?

— Не могу тебе сказать.

— Вообще не можешь или *пока* не можешь сказать мне?

Она произнесла, аккуратно выговаривая слова:

— Я тебе уже объяснила, что именно тебе нужно сделать — ты должен возвратиться назад в своей памяти, найти все места, где бывал, все события, которые с тобой происходили до самого начала. Ты способен на это, если хватит времени.

Тут по лицу ее пробежал ужас, немедленно сменившийся печалью.

— Вот только времени у тебя больше нет.

Он рассмеялся едва ли не с радостью и взял ее за руку.

— Хватит, еще как хватит. Слушай, сегодня утром я разыскал пещеру. Джейни, это было два года назад. Вспомнил, где она находится и что я там обнаружил: ветхие лохмотья, детскую одежонку. И адрес дома с козырьком. И эту трубочку — единственное доказательство, что я на верном пути. Но главное то, что я нашел пещеру очень быстро, минут за тридцать, и притом особо не напрягаясь. А теперь я как следует напрягусь. Ты сказала, что у нас теперь нет времени. Ну не чтобы несколько недель или дней… но, может, денек-то еще остался? Или полдня?

Краски вновь проступили на лице Джейни.

— Возможно, — ответила она. — Не знаю… Водитель! Здесь.

Она сама заплатила шоферу, Гип не протестовал. Они оказались за пределами города, среди просторных волнистых полей, схваченных редкими щупальцами обитающего в городах зверя: фруктовый сад, заправочная станция, через дорогу — неправдоподобно новые, словно лакированные, дома. Она указала вверх, на луга.

— Нас найдут, — ровно проговорила она. — Но там мы будем одни. К тому же оттуда мы сразу заметим, если кто-то появится.

Они сидели на вершине холма, на зеленом лугу, оглядывая пространство до горизонта, посреди новой зелени еще пробивавшейся сквозь желтую щетину недавнего жнивья. Они сидели лицом друг к другу, охватывая взглядом по половине горизонта каждый.

Солнце поднималось все выше, становилось жарче, задувал ветер, облака набегали и отлетали — одно за другим. Гип Бэрроуз трудился — он уходил назад, в прошлое, погружаясь в него все дальше и дальше. А Джейни ждала, вслушивалась и наблюдала, чистые глаза девушки обозревали прилегающую равнину.

Назад… дальше и дальше… Безумный и грязный Гип Бэрроуз потратил два года, чтобы отыскать дом с козырьком: в адресе значились улица и

номер дома, но ни город, ни поселок названы не были.

От дома умалишенных до пещеры тянулся путь еще в три года. Гип ушел, чтобы разыскать сумасшедший дом, если начинать отсчет прямо от офиса клерка. Со дня отставки ему понадобились шесть месяцев на поиски этого клерка. И еще полгода прошло с тех пор, как его вышвырнули со службы, — наваждение привязалось к нему именно тогда.

И семь лет миновало. Планы и мечтания, смех и надежды сменились полумраком тюремной камеры. Семь лет вырваны из жизни, исчезли, искалечены.

И он заново прошел эти семь лет, вспомнил наконец, что было в самом начале.

И смысл своей жизни, и мечту, и беду сыскал он на полигоне ПВО.

Все еще молодой, все еще блестящий и одновременно окруженный всеобщей неприязнью, лейтенант Бэрроуз обнаружил, что у него слишком много свободного времени, и это ему не понравилось.

Стрельбище было невелико и в некотором отношении напоминало технический курьез или даже музей, так много было там устаревшего

оборудования. Сама установка устарела в том смысле, что еще годы назад ее оснащение уступило место более совершенному и эффективному, и с тех пор она не входила ни в какую систему воздушной обороны. Применение себе оно находило в области обучения стрелков, офицеров, локаторщиков и техников.

Здесь, в один из часов столь ненавистной ему праздности, лейтенант Бэрроуз просматривал документы и наткнулся на давнишние цифры, относящиеся к эффективности дистанционных взрывателей, — минимальных углов возвышения, под которыми следует посылать эти сложные снаряды, оснащенные локатором размером в кулак, приемником и временными реле. Из анализа следовало, что офицеры, обслуживавшие пом-помы, решительным образом настроены сбивать низколетящие аэропланы, а не палить своими чувствительными снарядами по макушкам деревьев и опорам линий электропередачи.

На математические неточности, какими бы ничтожными они ни казались, глаз лейтенанта Бэрроуза реагировал, как ухо дирижера Тосканини на малейшую фальшь. Так, в некотором квадранте некоего сектора стрельбища обнаружилось крошечное пятно, над которым прошло

больше ушедших в молоко снарядов, чем почтительнейше предполагал закон средних чисел. Небольшое количество — один-два-три — улетевших за годы в белый свет снарядов могло бы намекать на низкое качество самих снарядов. Однако каждый пролет над этой точкой низколетящих снарядов оканчивался тем, что дистанционный снаряд взрывался либо при контакте с мишенью, либо вообще не взрывался, и это грубо нарушало почтенный закон. Разум настоящего ученого не признает беззаконий подобного рода и будет преследовать виновное в нем явление с тем же упорством, с каким это делает общество в отношении отщепенцев.

Тот факт, что этим вопросом еще никто не заинтересовался, вызвал у лейтенанта радостное возбуждение. Не существует особых причин, которые могут заставить кого бы то ни было отстреливать много снарядов при низких углах возвышения, еще меньше причин делать это над данным местом. И потому основания для исследования могут возникнуть только в том случае, если он, лейтенант Бэрроуз, обнаружит в сотне отчетов за дюжину лет достаточное количество соответствующих фактов.

Но это будет *его* исследование. Если оно ничего

не даст, он промолчит. Однако в случае удачи он может с великой скромностью и впечатляющей четкостью доложить все полковнику, и, быть может, тогда-то полковник пересмотрит свое мнение о лейтенантах-локаторщиках. Посему в свободное время Гип отправился на полигон и нашел место, где отказал его карманный вольтметр. Тут его осенило, что причиной аномалии может стать нечто, искажающее собой магнитное поле. Грубые, но чувствительные катушки и реле в контурах управления дистанционного снаряда как бы прекращали существовать, пролетая над неким склоном на высоте меньше сорока ярдов. Постоянные магниты реагировали точно так же, как и электрические.

В короткой и блестящей карьере Бэрроуза ничто еще не сулило подобной удачи. Точный и одаренный воображением разум уже с наслаждением припадал к этой чаше. Гипу грезилось, как он исследует замысловатое явление (не эффект ли Бэрроуза?), а потом в лаборатории, конечно же, успешно, воспроизводит его. А потом реализует. Полевой генератор создает направленные вверх невидимые силовые поля, на самолетах отказывают все системы связи и управления, даже интеркомы в результате мгновенного размагни-

чивания магнитов, системы наведения на цель, а также взрыватели управляемых снарядов… ну конечно же — идеальное оборонительное оружие электромагнитного века… И что же еще? Пределов не видно. Несомненно, повалят посетители, целые делегации, и полковник представит его известным ученым и военным: «*А вот, джентльмены, и наш локаторщик*».

Однако теперь, когда он понял, что она существует, для начала следует найти эту причину. Определив место аномалии, Гип принялся за детектор. Несложный, но хитроумный и тщательно откалиброванный. Пока руки его занимались работой, неугомонный ум крутил, вертел и перерабатывал саму идею контрмагнетизма и восхищался ею. В качестве математического развлечения он экстраполировал ряд законов, сформулировал следствия и в восторге исследователя отослал все в Электротехнический институт. Там по достоинству оценили его труд, даже опубликовали статью в журнале. А он забавлялся во время стрельб, рекомендуя рядовым не стрелять над этим местом прямой наводкой: иначе, мол, феи дегауссируют, то есть размагнитят, дистанционный взрыватель. Слова эти повергали его в высокий восторг, и он представлял себе, как бу-

дет потом напоминать всем, что туманная фраза формулировала самое простое явление, и надели их господь хотя бы гусиным умишком, они могли бы и сами догадаться.

Наконец он закончил детектор. В нем был ртутный переключатель, соленоид и источник питания переменной мощности, датчик мог обнаруживать весьма незначительные изменения собственного магнитного поля. Все устройство вместе весило около сорока фунтов; это было неважно, поскольку он не намеревался таскать его. Он взял точные карты стрельбища, назначил ассистентом самого тупого на вид рядового. И провел целый рабочий день на полигоне, скрупулезно прочесывая склон и сверяя свое положение с картой, пока наконец не обнаружил центр дегауссирующего эффекта.

Гип оказался на поле старой заброшенной фермы. Посреди поля торчал древний грузовичок, источенный дождем, снегом, росой и туманом. Машина уже утопала в земле, но лейтенант вместе с терпеливым солдатом энергично взялись за раскопки. Обливаясь потом, за несколько часов они освободили грузовик от земли. Под ним-то и обнаружился источник непонятного поля.

От каждого уголка рамы бежал блестящий се-

ребристый кабель. Все четыре сходились вместе на колонке руля — в маленькой коробочке. На крышке ее торчал переключатель. Источника питания нигде не было видно, но тем не менее вся штука работала.

Когда Бэрроуз повернул переключатель вперед, покореженные остатки заскрежетали и заметно вдавились в мягкую почву.

Он двинул переключатель назад — со скрипом и треском рыдван поднялся.

Поставив переключатель в нейтральное положение, Гип отступил назад. Он не смел даже мечтать отыскать подобное… Перед ним стоял дегауссирующий генератор и ждал, чтобы его разобрали и изучили. Правда, всякая дегауссировка была здесь только побочным продуктом.

В переднем положении тумблер делал грузовик тяжелее, в заднем — легче.

Это же антигравитация!

Антигравитация: сон, мечта, фантазия. Антигравитация, которая преобразит лицо Земли так, что пар, электричество, даже ядерная энергия станут всего лишь саженцами в том саду, что вырастет из этого устройства. Вот вам устремленные в небо дома, каких еще не замыслил ни один архитектор, вот полет без крыльев, к планетам,

звездам и дальше. Вот вам новая эра в транспорте, энергетике, даже в танце, а может, и в медицине. О! Сколько работы, и вся она в его руках.

Тут тупой солдатик, салабон несчастный, шагнул вперед и щелкнул выключателем. Назад. Улыбнулся и упал в ноги Бэрроузу. Брыкаясь, тот высвободился, потянулся, подпрыгнул, так что захрустели коленки. Гип тянулся вверх и уже кончиками пальцев коснулся холодящей поверхности одного из кабелей. Контакт длился не более десятой доли секунды, но и годы спустя, всю отпущенную ему жизнь, Бэрроуз помнил ощущение: он словно застыл, примерз к этому чуду. Воспарив, он поднялся над землей.

И упал…

Кошмар.

Разрывающее грудь молотящее сердце, дыхание забыто. Безумие: древняя колымага, покинув свою стихию, возносится ввысь, быстрее и быстрее, тает, пропадает в темнеющем небе… темное пятно, пятнышко, точка, отблеск света. А потом немота и боль, когда возвратилось дыхание.

И докучливый смех где-то рядом, и ярость… ненавистный смех… нужно заставить умолкнуть.

И время безумных криков, споров, слов, пре-

вращающихся в вопли, расширяющихся полумесяцев смеющихся глаз, и стремительно уходящий вдаль силуэт. *Он сделал это, он… и он же поставил мне подножку.*

Убить…

Но убивать некого. Рывок в сгущающуюся тьму, но в ней нет никого. Топот ног, огонь в животе и пламя в мозгу. Тупой, неуклюжий, бестолковый гад.

Потом возвращение к пустой, такой пустой, к невозможно пустой яме. Стань в ней и погляди на серебряные провода, которых ты больше не увидишь.

И уставившийся на него ржаво-красный глазок. Вопль, удар — и детектор летит в пространство, крутится, вертится, но невысоко, разбивается, глазок гаснет.

А потом долгий путь в казармы, а за спиной невидимка по имени мука вцепилась в разбитую ногу.

Упал. Отлежался и встал. Плюхнулся в воду, повалялся в ней, встал, отдохнул, а вот и казарма.

Штаб. Деревянные ступени, темная дверь, гулкий стук. Кровь, грязь и снова стук. Шаги, голоса, удивление, сожаление, досада, гнев.

Белые шлемы, бляхи военной полиции. Про-

сил: пригласите полковника. Нет, никого другого, только полковника.

Заткнись ты, разбудишь полковника.

Полковник, это вот антимагнетрон. Для спутников и транспорта, никаких более ракет!

Заткнись, локаторщик.

Потом драка, и кто-то кричит, когда наступают на сломанную ногу.

Кошмар исчез. Он лежит на белой кушетке в белой комнате с черной решеткой на окнах, рослый полисмен у двери.

— Где я?

— В госпитале, лейтенант, в тюремном отделении.

— Боже, что случилось?

— Я вам скажу, сэр. Вы здесь потому, что решили прихлопнуть какого-то рядового.

Он прикрыл глаза рукой.

— Его нашли?

— Лейтенант, такой человек не значится в списках. Честно говорю. Служба безопасности проверила все документы. Так что лучше расслабьтесь, сэр.

Стук. Полицейский открыл дверь. Голоса.

— Лейтенант. Майор Томпсон пришел переговорить с вами. Как вы себя чувствуете?

— Хреново, сержант, хреново… но поговорю с ним, если он хочет.

— Теперь он успокоился, сэр.

Новый голос… *тот самый*! Бэрроуз надавил на глаза ладонью, так что искры посыпались. *Не гляди. Если ты не ошибся, придется его убить.*

Дверь. Шаги.

— Лейтенант, добрый вечер. Случалось уже беседовать с психиатром?

Медленно, в ужасе перед взрывом, который вот-вот разразится, Бэрроуз опустил руку и открыл глаза. Опрятный ладный мундир с нашивками медицинской службы ничего не значил. Профессиональная любезность тоже не имела никакого значения. Все существо Гипа сосредоточилось на одном — перед ним маячила физиономия того самого рядового, безропотно и тупо весь жаркий день таскавшего его детектор — того, что был свидетелем его открытия, а потом вдруг улыбнулся и одним движением руки отправил вверх и грузовик, и мечту.

Взвыв, Бэрроуз прыгнул.

И кошмар снова сомкнулся.

Они сделали все, чтобы помочь ему, — позволили самому проверить все анкеты и убедиться, что такой рядовой в списках части не значится.

А эффект «дегауссирования»? Никаких свидетельств. Конечно, сам признал, что унес все материалы к себе на квартиру. Нет их и у него дома. Действительно, на полигоне обнаружилась яма, возле нее нашли и детектор, всем показавшийся никчемным, — он ведь только измерял поле собственного магнита. Что касается майора Томпсона, он как раз в это время летел сюда в самолете, имеются свидетели. Если лейтенант перестанет настаивать на том, что майор Томпсон и есть пропавший рядовой, ему сразу сделается легче, вы же понимаете, лейтенант, что майор Томпсон не рядовой. И быть им не может. Но лучше, если капитан Бромфилд…

Я знаю, что сделал, я знаю, что видел. Я разыщу еще это устройство и того, кто его сделал. И убью этого Томпсона.

Бромфилд был добрым человеком, и, видит господь, он старался. Однако соединение в пациенте высокого дарования и практической подготовки не позволяли тому смириться с отрицанием того, что он видел собственными глазами. Когда попытки найти доказательства завершились и миновали периоды истерический и последовавший за ним меланхолии, когда было достигнуто шаткое и поверхностное равновесие, они попы-

тались снова свести его с майором. Он снова на него бросился — и защитить Томпсона смогли только пятеро дюжих мужчин.

Ох уж эти талантливые молодые люди. Как легко они ломаются.

После этого Гипа ненадолго оставили в госпитале, удовлетворившись тем, что ненормальную реакцию вызывал в нем только злосчастный майор. В результате майору было выписано предупреждение, а лейтенанта выставили из клиники. Как неизлечимого.

Первые шесть месяцев прошли как в дурном сне. Еще не позабыв отеческие наставления капитана Бромфилда, он попытался найти работу и держаться за нее, пока дело не пойдет на «поправку», которую предрекал капитан. На поправку так и не пошло.

Он успел скопить кое-что, и некоторую сумму ему выплатили при увольнении. Надо было отдохнуть несколько месяцев и выбросить всю эту историю из головы.

Во-первых, ферма. Устройство оказалось на грузовике, грузовик же принадлежал фермеру. Остается только найти хозяина, а с ним и ответ.

Шесть месяцев потребовалось, чтобы добраться до городских архивов — всех из деревни высели-

ли, когда к базе прирезали полигон для зениток. Он узнал, что существуют два человека, которые могли бы поведать ему о грузовике: А. Продд, фермер, и безымянный полудурок-батрак, невесть откуда прибившийся к земледельцу.

Продда он разыскал через год. Следуя слухам, он отправился в Пенсильванию — в сумасшедший дом. И от Продда, лишившегося чего угодно, только не дара речи, узнал, что старик все ожидает жену; что сын его Джек так и не родился; что старина Дин, если и был идиотом, то все равно ловко умел извлекать грузовик из грязи; что Дин оказался хорошим парнем, хотя и жил он в лесу среди диких зверей, а он, Продд, ни разу не пропустил дойки.

Более счастливого и довольного жизнью человека Гипу еще не приходилось видеть.

И Бэрроуз отправился в лес — к диким зверям. Три с половиной года он прочесывал эти леса. Ел ягоды и орехи, ловил зазевавшуюся живность. Сперва он еще что-то получал по пенсионным чекам, а потом забыл про них. Утратил свои технические навыки, почти забыл собственное имя. Помнил только одно — оставить подобную штуку на грузовике мог лишь идиот, и звали его Дин.

Он нашел пещеру, нашел детские тряпки и

обрывок серебристого кабеля. И адрес.

Да, адрес. Он узнал, где искать детей. И тут-то нарвался на Томпсона. А потом Джейни нашла его. Надо же — семь лет.

Он лежал в прохладе, под головой была мягкая подушка, а волосы поглаживала мягкая рука. Он еще спал или только что проснулся. И настолько был истощен, измочален, измотан, что сон ничем не отличался от яви, и это не значило ничего. Ничего-ничего. Он знал, кто он, помнил, кем был. Он знал, что ищет и где находится сейчас, и все уже нашел — во сне.

Он радостно пошевелился. «Утром, — думал он успокоенно, — я отправлюсь к моему полудурку. А что — не потратить ли часок на воспоминания? На пикнике воскресной школы я выиграл бег в мешках, и меня наградили носовым платком цвета хаки. В лагере скаутов я поймал перед завтраком трех щук. Сам греб в каноэ и держал леску в зубах; самая крупная из рыбин, клюнув, разрезала мне губу. Ненавижу рисовый пудинг, люблю Баха, ливерную колбасу, последние две недели мая и бездонные чистые глаза… Джейни?»

— Я здесь.

Он улыбнулся, поудобнее устраиваясь на подушке и обнаружил, что голова его покоится на

коленях Джейни. Он открыл глаза. Голова Джейни темным облачком закрывала звезды; темная ночь — черное небо.

— Поздно уже?

— Да, — шепнула она, — хорошо спал?

Он мирно лежал, улыбался, думая о том, как безмятежно спал.

— Не хотел видеть снов — вот ничего и не приснилось.

— Ну и замечательно.

Он сел. Она осторожно пошевелилась. Он проговорил:

— У тебя, должно быть, все тело затекло. Возвращаемся в город?

— Рано еще. Теперь моя очередь, Гип. Мне тоже нужно о многом тебе рассказать.

— Ты замерзла. Может, отложим разговоры?

— Не-ет, нет! Ты должен все знать прежде, чем он… прежде чем нас найдут.

– *Он?* Кто он?

Молчание было долгим. Гип уже хотел нарушить его, но вовремя спохватился. И когда она начала (совсем как будто бы не о том), он едва не прервал ее, но снова сдержался, позволяя Джейни вести повествование удобным ей чередом.

Она сказала:

— Ты нашел тогда на поле нечто важное и успел понять, что подобная штука может представлять для тебя самого и всего мира. А потом парень, который был с тобой, тот солдат, все испортил. Как ты думаешь, почему он это сделал?

— Да просто дурак был, неуклюжий и безмозглый.

Никак не прореагировав, она продолжила:

— Врач, которого к тебе прислали, был как две капли воды похож на него.

— Мне доказывали обратное.

Он был рядом с Джейни и потому сумел заметить во тьме движение: легкий кивок.

— Даже приводили свидетелей, летевших вместе с ним в салоне самолета. Еще у тебя ведь были материалы, свидетельствовавшие о том, что в определенном месте полигона не срабатывали дистанционные взрыватели. Что с ними случилось?

— Не знаю. Все отчеты исчезли.

— А тебе не приходило в голову, что именно эти три факта — отсутствие рядового, пропажа отчетов и сходство солдата с майором — подорвали доверие к тебе?

— Что говорить… сумей я тогда объяснить хотя бы один, а лучше два из этих фактов, я не заболел

бы этим самым наваждением.

— Хорошо, а теперь подумай вот над чем. Семь лет, спотыкаясь и падая, ты подбирался к тому, что потерял. Ты выследил человека, который сделал эту штуковину, и вот-вот должен был повстречаться с ним. И тогда что-то случилось.

— Моя вина. Нарвался на Томпсона и окончательно спятил.

Она положила ладонь ему на плечо.

— Теперь представь себе, что твой рядовой нажал на тумблер не случайно. Представь себе, что это было сделано сознательно.

Большего потрясения он не мог бы испытать, даже если бы Джейни вдруг сверкнула бы ему прямо в глаза фонарем. Справившись с собой, он проговорил:

— Но почему это не пришло в голову мне самому?

— Тебе не позволили это понять, — с горечью сказала она.

— Ты хочешь сказать, что мне…

— Пожалуйста, подожди еще немного, — остановила она. — На миг только представь, что все это дело одних рук. Можешь ли ты предположить, кто это сделал и почему и как он сумел добиться твоей гибели?

— Нет, — мгновенно отозвался он. — В уничтожении первого и единственного в мире антигравитационного генератора нет никакого смысла. А в последующем стремлении погубить меня, да еще столь сложным способом, тоже. К тому же этот человек должен уметь проникать в запертые комнаты, гипнотизировать свидетелей и читать мысли.

— Все это он умеет делать, — ответила Джейни. — И сделал.

— Джейни, кто он?

— Кто, по-твоему, сделал генератор?

Он подпрыгнул на ноги и испустил вопль, скатившийся вниз, на темные поля.

— Гип!

— Не обращай на меня внимания, — сказал он. — Я просто понял, что тот, кто рискнет уничтожить подобную вещь, и есть тот, кто сможет сделать другую такую же, когда захочет. А это означает — о боже! — что солдат, полудурок и может быть Томпсон… да, Томпсон — это он засадил меня в тюрьму, когда я вот-вот должен был добраться до истины — одно лицо! И почему я раньше не догадался об этом?

— Я сказала уже — тебе не позволили.

Он вновь опустился на землю. На востоке по-

висла заря дальним отблеском огней невидимого города. И он увидел в ней зарю того дня, которым закончится это долгое наваждение, и вспомнил об ужасе, который вызвало в Джейни его намерение очертя голову броситься в неизвестное, оказаться перед неведомым чудищем… не имея здравого рассудка, не имея памяти, не имея рук или информации.

— Джейни, ты должна рассказать мне все. Все, что знаешь.

И она рассказала ему все до последней подробности. О Дине, о Бони и Бини, о себе, о мисс Кью и Мириам, которых уже не было в живых, и о Джерри. Она рассказала ему, что после убийства мисс Кью они опять возвратились в лес, посреди которого прятался и дремал старый, погруженный в раздумья, особняк Кью, и как какое-то время все они были очень близки. Но потом…

— Джерри вдруг воспылал честолюбием и решил поступить в колледж, что сделать ему было очень просто. Для него все просто. Он совсем неприметный, когда эти его глаза скрыты очками; знаешь, тогда люди его просто не замечают. И он окончил медицинское училище, психиатрическое отделение.

— Ты хочешь сказать, он и в самом деле психи-

атр? — спросил Гип.

— Нет. Просто помнит прочитанное. В этом разница. Он спрятался среди людей, забился в толпу, подделал все мыслимые бумаги. И никто не схватил его за руку, потому что Джерри достаточно на мгновение снять очки и посмотреть на любого проверяющего, чтобы он сразу обо всем забыл… Он не провалил ни одного экзамена, поскольку везде находился туалет, где он всегда мог уединиться.

— Как? В мужском туалете?

— Да-да. — Она рассмеялась. — В свое время мы очень веселились. Вот смотри, он запирается в кабинке, вызывает туда Бони или Бини. Говорит им, на чем споткнулся. Они перепрыгивают домой, рассказывают мне, я получаю ответ от Малыша, и они опять несутся назад со всей информацией. Все за несколько секунд. Но в один прекрасный день один студент подслушал их разговоры и заглянул через верх из соседней кабинки. Только представь себе. Ни Бони, ни Бини не могут прихватить с собой даже зубочистки, когда телепортируются, не говоря уже об одежде.

Гип хлопнул себя по лбу.

— И чем все закончилось?

— Парень вылетел оттуда пулей, голося, что

в сортире голая девушка. Половина курса — мужская, конечно, — тут же рванула туда, но, естественно, никакой девушки там уже не было. Джерри тут же поглядел на юнца, тот сразу забыл обо всем и еще удивлялся, о чем шум. Сокурсники долго вспоминали эту историю.

Хорошие были времена, — вздохнула она. — Джерри так интересовался всем. Постоянно читал. То и дело требовал помощи у Малыша. Его интересовали и люди, и машины, и книги, и искусство, и история… Я многое узнала тогда — ведь вся информация, как я говорила, проходила через меня.

Но потом Джерри стал… я едва не сказала «заболевать», но это не так. — Она задумчиво прикусила губу. — Судя по тому, что я знаю о людях, существуют лишь две по-настоящему эффективные породы. Одни способны зарыться в тему, учиться, а потом воспользоваться тем, что узнали. Другие, немногие, интересуются чем-либо исключительно потому, что им интересно, такими они рождены. Но огромному большинству хочется что-то доказать. Одни стремятся к богатству, другие жаждут известности, влияния, почета. На Джерри это тоже сказалось. Он так и не получил настоящего образования, а потому

всегда боялся конкуренции. В детстве ему крепко досталось: семи лет от роду он убежал из сиротского приюта и жил, как крыса в сточной канаве, пока Дин не подобрал его. И ему нравилось быть первым в учебе и делать деньги движением пальца, когда он нуждался в них. Я думаю, некоторое время он испытывал искренний интерес к биологии и музыке, ну и еще кое к чему.

Однако он скоро понял, что ему не нужно никому и ничего доказывать. Ведь он был сильнее, могущественнее кого бы то ни было. Доказывать ему было скучно. Он и так мог получить все, чего хотел.

И он оставил занятия. Перестал играть на гобое. А потом понемногу забросил и все остальное. Наконец буквально остановился — провел практически год без движения. Кто знает, что тогда творилось в его голове. Неделями он лежал и не произносил ни слова.

— А наш «гештальт», Гип, — так мы его называем, — сначала был идиотом, пока его головой оставался Дин. Когда Джерри принял его обязанности на себя, мы сделались новым, сильным, растущим существом. Но когда с ним это случилось… словом, оказалось, что на всех нас обрушился маниакально-депрессивный психоз.

— Ого! — отозвался Гип. — Депрессивный маньяк, способный править целым миром…

— Джерри не хотел править миром, хотя знал, что сможет, если захочет. Но он не видел в этом никакой необходимости.

Ну и как об этом говорят его психиатрические тесты, он сдался и вскоре стал деградировать, впадать в ребячество, довольно злобное к тому же.

Тогда я и начала оглядываться — трудно было оставаться в доме. Принялась разыскивать такое, что могло бы отвлечь его, вывести из депрессии. И однажды целый вечер в Нью-Йорке я проговорила с одним из сотрудников РТИ.

— Радиотехнического института, — произнес Гип. — Мощное заведение. Я был его членом.

— Я знаю, он и рассказал мне о тебе.

— Обо мне?

— О том, что ты называл «математическим отдыхом». Об экстраполяции возможных законов и побочных проявлениях магнитного поля в гравитационном генераторе.

— Боже!

Она издала короткий, болезненный смешок.

— Да, Гип. Это я во всем виновата, но я тогда не знала, не думала. Просто хотела чем-то заинтересовать Джерри. Он действительно заин-

тересовался. Спросил обо всем Малыша и мигом получил ответ. Видишь ли, Дин сделал эту штуку еще до того, как Джерри появился у нас. Мы успели обо всем забыть.

— Забыть?! О *такой* вещи?

— Видишь ли, мы думаем не так, как обыкновенные люди.

— И в самом деле, — согласился он. — Вполне понятно.

— Дин сделал эту машинку для старого фермера Продда. Все в стиле Дина. Сделал гравитационный генератор для того, чтобы увеличивать и уменьшать вес дряхлого грузовика Продда — старик использовал его в качестве трактора. И все потому, что у Продда пала лошадь, а новая была не по карману.

— Немыслимо!

— Да. Дин и впрямь был фантастическим идиотом.

Потом Джерри спросил у Малыша, к чему может привести подобное открытие, если о нем узнает весь мир, и тот наговорил ему с три короба. Сказал, что эта штука перевернет весь мир — хуже новой промышленной революции. Но глобальные результаты могут быть непостижимыми. При определенном стечении обстоятельств раз-

разится чудовищной силы война, при другом раскладе — наука помчится вперед куда быстрее, чем следует. Похоже, что в гравитации кроется ключ ко всему. И тогда к Единому Полю люди добавят еще одну составляющую — то, что сейчас называется психической энергией, или «псионикой».

— Материя, энергия, пространство, время и психика, — благоговейно выдохнул Гип.

— Ага, — непринужденно бросила Джейни. — Все это по сути дела одно и то же, доказательством чему и служила эта машинка. После нее никаких секретов в физике уже не могло быть.

— Колоссально! Значит, Джерри решил, что мы, недоразвитые волосатые орангутаны, того не достойны?

— Не Джерри! Ему дела нет до того, что с вами, орангутанами, будет. Однако Малыш сообщил ему, что вне зависимости от того, как пойдет история, машина эта обратит внимание общества на нас. Сам знаешь. Ты нашел нас самостоятельно. Только ЦРУ сделает это не за семь лет, а за семь недель.

Это и обеспокоило Джерри. Он ушел в свою раковину и хотел одного — медленно преть в собственном соку в своем лесном убежище. Он вовсе

не собирался обнаружить у своих ворот полчище агентов ЦРУ, требующих, чтобы он вышел и явил себя патриотом. Ну конечно, он мог управиться и с ними. Только для этого ему пришлось бы основательно потрудиться. А основательно трудиться — не по его части. И он разозлился. Разозлился на Дина, который давно уже в могиле, а в особенности — на тебя.

— Ну да! Он мог просто убить меня. Почему же он не сделал этого?

— По той самой причине, что помешала ему самому потрудиться и извлечь устройство, прежде чем ты его обнаружил. Я же говорила тебе, он сделался злобным и мстительным. Ты нарушил его покой. И должен был поплатиться за это.

Вынуждена признаться, тогда меня не заботило, какой оборот примет дело, — я рада была тому, что он вновь зашевелился. И я пошла с ним на полигон. А теперь расскажу о том, чего ты не можешь помнить. Он вошел в лабораторию, когда ты отлаживал свой детектор, заглянул в твои глаза и вышел, зная все, что было известно тебе и что ты собираешься извлечь из этой штуки, плюс тот факт, что ты намереваешься вытащить машинку из земли, а в качестве помощника — как ты там выразился? — найти себе добровольца.

— Да, в те дни моя голова просто пылала, — скорбно отозвался Гип.

Она рассмеялась.

— Ты не знаешь, ты ничего не знаешь. Как сейчас вижу тебя с этим тяжелым ящиком на ремне через плечо. Ты стоял в своей ладной форме… и солнце золотило волосы… Гип, мне было семнадцать.

Джерри велел мне быстренько достать форму рядового. И я забрала ее из казармы.

— Вот уж не предполагал, чтобы некто в семнадцать лет мог войти в казарму и выйти из нее с целой шкуркой, а уж тем более семнадцатилетняя девушка!

— Я не входила! — ответила Джейни. И Гип вскрикнул от удивления, поскольку его собственная рубашка зашевелилась и затрепетала, высвободилась из-под ремня и заполоскалась на рассветном ветру при полном отсутствии оного.

— Но-но, потише, не надо больше этого делать, — вздохнул он.

— Это я чисто для примера, — подмигнула ему Джейни. — Так вот, Джерри надел куртку и, привалившись к забору, стал тебя ждать. Ты направился прямо к нему и вручил свой детектор: «Пойдем-ка, солдатик, ты только что вызвался

принять участие в пикнике. Понесешь закуску».

— Каким же я был тогда нахалом!

— Вовсе нет! Я наблюдала за вами из-за барака военной полиции. Мне ты казался удивительным. Да, Гип!

Он коротко усмехнулся:

— Ладно, продолжай. Что было дальше?

— Остальное ты знаешь. Джерри велел Бони выудить материалы из твоей комнаты. Она их разыскала и мгновенно переправила мне. Я их сожгла. Прости, Гип. Тогда я не знала, что задумал Джерри.

— Продолжай.

— Джерри позаботился о том, чтобы тебе никто не поверил. Его психологический расчет был верен. Ты настаивал, что ходил с каким-то рядовым, а его никто в глаза не видел. Ты твердил, что этот рядовой и врач — одно лицо. Типичный симптом подобных заболеваний, что может подтвердить любой получивший образование медик. Ты заявил, что материалы отчетов подтверждают твои слова, а их нигде не могли найти. Ты мог доказать только то, что выкопал нечто из земли, однако ничто не указывало на природу этой вещи. Но в первую очередь твой тренированный ученый разум обладал полным набором фактов, которые

на всем белом свете никто не мог подтвердить.

— Остроумно, — только и мог вымолвить Гип.

— И на всякий случай, — не без усилия проговорила Джейни, — он дал тебе постгипнотическую установку, которая не позволила тебе заподозрить его в исчезновении устройства — ни в качестве майора Томпсона, психиатра, ни в качестве рядового.

Когда я поняла, что он натворил, я попыталась уговорить его хоть как-то помочь тебе, хоть самую малость. Но он только усмехнулся. Я спросила у Малыша, что можно сделать. Он ничего не сказал, а потом отметил, что подобную установку можно снять только лишь реверсивным негативным воздействием.

— Это еще что такое?

— Мысленное возвращение ко времени инцидента. Реверсивное переживание — это процесс восстановления, повторного восприятия события. Но этот путь для тебя был закрыт — приходилось начинать с момента получения команды. Оставалось только полностью лишить тебя способности к передвижению, не объясняя причин, и постепенно — звено за звеном — раскрутить всю цепь событий, чтобы ты мог добраться до запрета Джерри. Он ведь был сформулирован

по типу «отныне и далее...» и не мог остановить тебя, когда ты пошел в обратную сторону. И как, скажи на милость, я могла отыскать тебя и иммобилизировать, не объяснив причину?

— Скажите пожалуйста, — с наигранной важностью проговорил Гип. — Я чувствую себя значительной персоной. Причинил столько хлопот такой личности, как он.

— Не обольщайся, — кисло улыбнулась она. — Прости, Гип, я не это хотела сказать... Джерри ни в коей мере не утруждал себя. Он просто раздавил тебя, как жучка, и тут же забыл.

Уничтоженный, Гип прошептал:

— Ну спасибо тебе, Джейни.

— Он сделал это дважды! — гневно воскликнула она. — Ты стоял перед ним, ты, потерявший лучшие годы молодости... целых семь лет!.. Ты утратил ум и мастерство инженера, все честолюбивые идеи, кроме одной, навязчивой, не покидающей тебя. Голодный, грязный маньяк. И все же в тебе еще хватило того, что делает тебя тобой, и ты одолел эти семь лет, собирая жизнь по кускам, и сумел добраться до его порога. Но, увидев тебя случайно в городе, Джерри сразу понял, зачем ты пришел. И когда ты кинулся на него, он просто швырнул тебя в оконное стекло — одним

взглядом этих подлых, ядовитых глаз….

— Ну, Джейни, Джейни, не надо так волноваться, — успокаивал Гип.

— Я сама не верю своим словам, — прошептала она, проведя рукой по глазам. Потом откинула волосы назад, расправила плечи. — И он послал тебя вперед головой в эту витрину, а заодно велел: ляг и умри. Я же видела это, все случилось на моих глазах. Как гнусно…

Продолжала она уже более спокойно:

— Возможно, если бы это произошло всего лишь раз, я могла бы забыть. Нет, я никогда не одобрила бы такого поступка, но когда-то я верила в Джерри… Пойми меня правильно, все мы, близнецы, Джерри, я — части единого целого, реального и живого. И ненавидеть его для меня — ну словно ненавидеть собственные ноги или там легкие…

— В Писании сказано: «Если глаза твои соблазняют тебя — вырви их и отбрось. Если правая рука твоя…» — начал он.

— Да-да, рука, глаз, — вскричала Джейни, — но не голова и не воля же! — и продолжала: — То, что случилось с тобой, — не единственный случай. Ты помнишь разговоры о ядерном синтезе восемьдесят третьего элемента?

— Сказки, висмут не играет в подобные игры.

Что-то припоминаю… какой-то безумец… Клакенхорст его звали, так?

— Не безумец, а Клакенхеймер, — с укоризной поправила она. — В припадке хвастовства Джерри выболтал некое дифференциальное уравнение, чего не следовало делать. Клак вовремя сообразил. И сумел добиться слияния ядер висмута. Тогда Джерри встревожился, такая штука вызвала бы столь мощный резонанс, что, докапываясь до корней, могли бы выйти на него. Тут он и разделался с бедолагой Клаком.

— Он умер от рака! — фыркнул Гип.

Джейни бросила на него странный взгляд:

— Мне лучше знать, от чего.

Гип стиснул руками голову. Джейни продолжала:

— Но этим не ограничилось. Хотя остальное уже так, по мелочи. Как-то я решилась уговорить его поухаживать за девушкой, жениться. Но только без этих своих штучек, на одном личном обаянии. Он потерпел неудачу — его обошел приятный такой парнишка, который торговал стиральными машинами, доставлял их на дом клиентам и вполне преуспевал. Так вот, парень заработал болезнь *acne rosacea.*

— Это когда нос — как свекла. Видел такое.

— Как переваренная, распухшая свекла. Все, он остался без работы.

— И без девушки… — предположил Гип.

Джейни улыбнулась:

— Девушка словно прилипла к нему. Теперь у них маленькая керамическая мастерская. Но к прилавку он не подходит.

Гип испытывал определенные предположения в отношении того, откуда взялась мастерская.

— Джейни, верю тебе на слово. Наверное, был еще не один подобный случай. Ну а мне ты почему помогаешь? Едва ли не жизнь положила…

— По двум хорошим причинам. Во-первых, я видела, как он обошелся с тобой в городе, как заставил тебя броситься на свое отражение в витрине, заставив тебя поверить, что это и есть он сам. Я не хотела больше видеть никаких проявлений подобной бессмысленной жестокости. Ну и вторая — потому что ты — это ты.

А потом заговорила быстро и страстно:

— Послушай, мы не кучка уродов. Мы — *Homo Gestalt*, ты понимаешь это? Мы — единое существо. Нас никто не изобретал. Мы порождены эволюцией. Мы — следующая за человеком ступень. И мы одиноки, подобных нам не существует. Мы живем не в вашем мире, не под

руководством ваших этических и моральных кодексов. Наш мир — необитаемый остров, и мы живем посреди стада коз.

— Это я-то — козел?

— Да-да, *конечно*, неужели ты сам не видишь? Но мы уроженцы этого острова, и нас некому было учить, некому было рассказывать, как следует себя вести. Мы можем узнать от коз все, что нужно для того, чтобы быть хорошей козой, однако это никак не изменит того факта, что мы не козы! Нам нельзя жить по тем же правилам, что и обычным людям, — мы совсем не то, что они!

Он собрался было заговорить, и она жестом велела ему молчать:

— Послушай, тебе приходилось когда-нибудь бывать в этих музеях, где выставлены скелеты, к примеру, лошадей, начиная от скелета крохотного эогиппуса и через девятнадцать-двадцать промежуточных ступеней заканчивающихся скелетом першерона? Различия между первым номером и последним просто огромны. Но какая, скажи на милость, разница существует между пятнадцатым и шестнадцатым номером? Да никакой!

Джейни задохнулась и умолкла.

— Я тебя понял. Но какое отношение все это

имеет к…

— К тебе? Неужели не ясно? *Homo Gestalt* — это нечто новое, высшее, совершенное. Однако его части — руки, ноги, потроха, память — подобны костям этих скелетов, они такие же, как и у тех, кто стоит на ступень ниже, ну или отличаются на самую малость. И все же я — это я, девушка по имени Джейни. Я видела, как он прихлопнул тебя, ты и так был похож на замученного кролика, ты был убог и грязен и не так молод, каким должен был быть, но я узнала тебя. И увидела тебя таким, каким ты был семь лет назад, когда стоял со своим детектором через плечо и солнце играло в твоих волосах. Ты был тогда широкоплечим и мускулистым и шагал, как рослый лоснящийся жеребец. В тебе проявлялась причина ярких перьев бентамского петуха и часть того, что потрясает весь лес, когда бросает вызов сопернику лось-самец. Ты был блестящим панцирем, трепещущим вымпелом, яркой броней, моей косынкой на твоем челе… ты был, ты был… а мне было *семнадцать*, Бэрроуз, чем бы другим я там ни являлась. Семнадцать, а вокруг бушевала весна, и собственные мечты пугали меня.

В глубоком потрясении он прошептал:

— Джейни… Джейни.

— Не лезь ко мне! — огрызнулась она. — Это не то, что ты подумал, не какая-то там любовь с первого взгляда. Все это детство; любовь иная, она достаточно горяча для того, чтобы расплавить тебя, влить во что-то иное, смешаться с чем-то, а затем остыть и застыть и сделаться прочнее, чем было в начале. Я говорю не о любви. Я говорю о том, что бывает в семнадцать, когда ты ощущаешь себя во всей полноте… — Она прикрыла лицо. Он ждал. Наконец Джейни опустила руки, не открывая глаз, ни на мгновение не изменив позу. — Во всей полноте… *человеком*, — закончила девушка.

И продолжала, уже вполне деловито:

— Именно поэтому я облагодетельствовала тебя, а не кого-то другого. Вот потому-то я помогла тебе.

Он встал навстречу свежему утру, ясному, новому, как испуг юной девушки, увидевшей страшный сон. И снова вспомнил ту панику, которую ощутила Джейни, услышав от него о появлении Бони; и глазами ее увидел теперь, что вышло бы, окажись он, слепой и немой, безоружный и ничего не понимающий, в этих жестоких и безжалостных жерновах.

Он вспомнил тот день, когда, закончив работу,

вывалился из лаборатории. Наглый, самоуверенный, тщеславный, он подыскивал себе в рабы тупейшего из рядовых.

Он снова подумал о том, каким был в тот день, не о том, что произошло с Джерри, ибо это было уже занесено в анналы, подшито и проштемпелевано, открыто не изменению, но излечению. И чем больше он вспоминал себя, такого, каким был тогда, тем больше его переполняло глубокое и удушливое смирение.

Шагнув, он едва не наткнулся на Джейни, внимательно рассматривавшей собственные руки, дремавшие на коленях, на которых еще недавно покоилась его голова, и подумал, что и они знали свои страдания и секреты и мелкую, достойную улыбки магию.

Он опустился на колени возле нее и надтреснутым голосом проговорил:

— Джейни, ты должна знать, каким я был в тот день, когда ты увидела меня. Не хочу портить твою память о себе, семнадцатилетней. Просто мне надо рассказать тебе о той стороне этого дня, которая принадлежала мне, о вещах, бывших внутри совсем не такими, какими ты их воспринимала.

Он глубоко вздохнул:

— Я помню этот день лучше тебя, потому что ты пережила его семь лет назад, а я только вчера, до того, как лег спать и мне приснились поиски этого полудурка. Но теперь я совсем проснулся, и сон ушел в прошлое… так что я теперь отлично помню все подробности.

Джейни, мне жилось несладко с самого детства. Первым, что я усвоил в этой жизни, стало сознание того, что я — существо бесполезное и все мои желания и потребности вздорны по определению. Я не пытался оспорить это до тех пор, пока не вырвался на свободу и не обнаружил, что в моем новом мире существуют иные ценности, чем в прежнем, и что в новом мире я представляю собой ценность. Я был нужен, я принадлежал…

А потом я попал в ВВС и там оказался не героем футбола, не главой дискуссионного общества. Я сделался яркой рыбой, но чешуи мои подсыхали, и мокрицы уже облепляли меня. Я едва не умер там, Джейни.

Да, я самостоятельно обнаружил это размагничивающее поле, но хочу, чтобы ты поняла: в тот день, когда ты увидела меня, я выходил из лаборатории не заносчивым петушком и не самодовольным жеребцом. Я шел навстречу открытию, чтобы даровать его человечеству, но не

человечества ради, — он с горечью сглотнул, — а чтобы меня просили сыграть в офицерском клубе, чтобы похлопывали по спине, чтобы обращали внимание, когда я вхожу. Я хотел только этого. И когда понял, что передо мной не просто машина, ослабляющая магнитное поле, что принесло бы мне известность, а антигравитационная установка, способная изменить лицо Земли, то думал только о том, что к фортепиано меня будет приглашать сам президент, а похлопывать по плечу — генералы. И ничего-то во мне не переменилось.

Гип опустился на корточки, оба долго молчали. Наконец она проговорила:

— А чего же ты хочешь теперь?

— Другого, — прошептал он и взял ее за руки, — другого. Чего-то совсем иного. — Он вдруг расхохотался. — А знаешь что, Джейни? *Даже представления не имею.*

На миг она стиснула его пальцы, а потом выпустила их.

— Быть может, ты еще разберешься. Гип, нам лучше уйти отсюда.

— Хорошо. Куда?

— Домой. В *мой* дом.

— И Томпсона тоже?

Она кивнула.

— Почему, Джейни?

— Он должен узнать, что компьютерам подвластно не все. Ему следует узнать, что такое стыд.

— Стыд?

— Не знаю, — проговорила она, — как работают моральные системы. Я не знаю, как запускать их. В отношении морали я знаю лишь то, что, нарушая ее правила, ты испытываешь стыд. Пусть Джерри начнет с этого.

— А что могу сделать я?

— Просто быть со мной, — вспыхнула она. — Я хочу, чтобы он увидел, какой ты есть, понял образ твоих мыслей. И чтобы вспомнил, каким блестящим и многообещающим ты был прежде. Я хочу, чтобы он понял, что сделал с тобой, во что тебе обошлась ваша встреча.

— Ты думаешь, для него все это имеет какое-нибудь значение?

Она улыбнулась; человека, способного на такую улыбку, стоит далеко обходить стороной.

— Пусть убедится в том, что не всесилен и не имеет права убивать лучших себя людей потому лишь, что сильнее.

— Ты хочешь, чтобы он вновь попытался убить

меня?

Она опять улыбнулась, на этот раз с полной убежденностью в своей правоте.

— Не посмеет. — Джейни рассмеялась, а потом повернулась к Гипу. — Не беспокойся об этом. *Ведь только я одна способна связать его с Малышом*. Или ты думаешь, он рискнет сделать себе самому префронтальную лоботомию? Неужели ты полагаешь, что он осмелится рискнуть своей памятью? Это же сверхчеловеческая память, Гип. Память *Homo gestalt*. Малыш хранит всю воспринятую им информацию, плюс результаты взаимодействия всех факторов во всех возможных комбинациях. Он еще мог бы обойтись без Бони и Бини, он может делать кое-что на расстоянии другими способами. Он может обойтись без каких-то других моих услуг. Но без Малыша… Ему и так уже пришлось обходиться без него после того, как я начала работать с тобой. Сейчас он уже взведен. Он может потрогать Малыша, поднять, заговорить с ним. Но не извлечет ни слова, ни мысли без моей помощи.

— Пойдем, — сказал Гип, а потом добавил: — Тебе не придется накладывать на себя руки.

Сначала они вернулись в собственный дом. Джейни отперла оба замка, даже не прикоснув-

шись к ним.

— Все время руки чесались, но я держалась, — расхохоталась она и, описав пируэт, влетела в его комнату.

— Смотри-ка, — пропела она. Лампа поднялась с журнального столика, медленно проплыла в воздухе и опустилась на пол возле ванной. Шнур ее, извиваясь змеей, пополз к розетке, вилка воткнулась, щелкнул выключатель. Лампа зажглась. — Видишь теперь! — воскликнула Джейни. Кофеварка вспрыгнула на крышку комода, замерла, и Гип услышал журчание — стенки сосуда запотели от ледяной воды.

— Смотри еще — смотри, смотри же! — предложила она, и на ковре появился бугорок, пополз вперед и разгладился у противоположного края. Ножи, вилки, его бритва, зубная щетка и пара галстуков просыпались на пол и сложились в силуэт пронзенного стрелой сердца. Он заливисто расхохотался, взял Джейни за плечи и повернул к себе.

— Скажи-ка, а почему я еще ни разу не поцеловал тебя?

Лицо ее и тело обрели полный покой, а в глазах засветилось нечто неописуемое — нежность, радость… и что-то еще. Она засмеялась.

— Я не стану объяснять тебе причину, потому что ты удивительный, отважный, умный и сильный, но еще и на самую малость чопорный ханжа.

Тут она отвернулась от него, и в воздух вспорхнуло целое облачко вещей — лампа с кофеваркой, ножи, вилки и галстуки вернулись на свои места. У двери она обернулась:

— Не медли! — и исчезла.

Бросившись следом, он застал ее в коридоре. Джейни смеялась.

— Теперь я понял, почему до сих пор ни разу не поцеловал тебя.

Она потупилась, опустила глаза, однако не сумела проделать того же с уголками рта.

— В самом деле?

— Ты способна долить воду в закрытую емкость. Или вылить ее оттуда. — Это был не вопрос.

— Ты так считаешь?

— Когда мы, бедные самцы, начинаем рыть копытами землю и задевать рогами за невысокие ветки, это может быть результатом весны, отпетого идеализма и любви. Однако событию этому всегда предшествует повышение гидростатического давления в целом ряду крохотных резервуаров, каждый из которых меньше ногтя

на моем мизинце.

— В самом деле?

— Поэтому когда количество жидкости в этих полостях вдруг снижается, я… мы… э… ощущаем, что дышать стало легче, и луна уже не так волнует нас.

— Быть не может.

— И именно это ты проделывала со мной.

— Ты так считаешь?

Она отодвинулась, посмотрела ему в глаза и рассыпалась дробным смешком.

— Едва ли такой поступок можно назвать аморальным.

Он рассмеялся в ответ:

— Порядочные девушки так не поступают!

Джейни наморщила нос и исчезла за дверью своей комнаты.

Он посмотрел на закрывшуюся дверь, стараясь увидеть то, что творится за ней, а потом повернул к себе.

Улыбаясь и восторженно и удивленно покачивая головой, облекая остававшийся в груди холодный комок ужаса в заново обретенный покой… озадаченный, очарованный, потрясенный и задумчивый, он пустил воду в душе и начал раздеваться.

Они постояли на дороге, пока такси не отъехало, а потом Джейни первой углубилась в лес. Если ветви деревьев и подрезали когда-то, теперь это невозможно было заметить. Тропа оказалась едва нахоженной и извилистой, однако достаточно заметной, так как ветви над головой переплетались так густо, что подлесок почти не рос под ними.

Они долго шли по направлению к замшелому утесу, пока Гип не сообразил, что перед ними не утес, а стена, простирающаяся, быть может, на сотню ярдов в обе стороны. Гип увидел массивную железную дверь. Когда они приблизились, за нею что-то звякнуло и тяжело отодвинулось. Он поглядел на Джейни и понял: это сделала она.

Ворота отворились и закрылись за ними. Лес вокруг не изменил своего вида, и окружали их такие же толстые деревья, однако сделавшая всего два поворота дорожка была здесь выложена кирпичом. За первым поворотом исчезла стена, за вторым, еще через четверть мили, они увидели дом.

Он был слишком низок и чересчур широк. Крыша поднималась холмом — не шпилем и не треугольником. Когда они подошли поближе, стали заметны тяжелые, серо-зеленые стены по обе стороны дома: ни дать ни взять тюрьма.

— И мне не нравится, — вторя его мыслям, согласилась Джейни. Он был рад тому, что она следит за выражением на его лице.

Она.

Кто-то прятался за стволом огромного узловатого дуба возле дома и рассматривал их.

— Подожди, Гип. — Джейни торопливо подошла к дереву и с кем-то заговорила. Он слышал ее голос: «Вы должны это сделать… или вы смерти моей добиваетесь?»

Фраза эта как будто бы завершила спор. Когда Джейни вернулась, он посмотрел на дерево, однако теперь там никого не было видно.

— Это Бини, — сказала Джейни, — ты с ней еще познакомишься. Потом.

Тяжелые дубовые доски двери скрепляли железные полосы. Она была подвешена на причудливых скрытых петлях в арочном проеме, форму которого повторяла. Единственные окна в фасаде располагались высоко над головой и были похожи на зарешеченные щели.

Тяжелая дубовая дверь отворилась сама собой — без всякого физического прикосновения. Судя по виду, ей положено было скрипеть, однако она двигалась бесшумно, как облачко. Они вошли, и дверь затворилась с гулом, слышимым

в области инфразвука. Гип не то чтобы услышал его, но скорее почувствовал животом.

Паркетные плитки, темно-желтые и буро-серые, образовывали гипнотический звездчатый узор, который повторялся и на обивке мебели, либо привинченной к полу, либо такой тяжелой, что ее никогда не сдвигали с места. Было прохладно, но не слишком влажно, и потолок, пожалуй, нависал чересчур низко. «Я иду, — думал он, — прямо в пасть чудовища».

Из прихожей они направились вдоль коридора, казавшегося удивительно длинным, ибо стены его сходились, потолок опускался, а пол поднимался, создавая немыслимую обратную перспективу.

— Все хорошо, — успокоила его Джейни тихим голосом. Он растянул рот, пытаясь изобразить улыбку, и, не сумев этого сделать, вытер холодный пот с верхней губы.

Они остановились возле замыкавшей коридор двери. Джейни прикоснулась к стене. Часть ее повернулась, открывая вход в прихожую, в которой находилась другая дверь.

— Подожди меня здесь, ладно, Гип? — Джейни была полностью сосредоточена. *Жаль, что здесь не слишком светло*, подумал он.

Чуть помедлив, Гип указал на вторую дверь в конце коридора:

— Он там?

Джейни прикоснулась к его плечу, то ли в знак близости, то ли подталкивая к входу в небольшую комнату.

— Я должна первой переговорить с ним, — проговорила она. — Верь мне, Гип.

— Я верил и верю тебе. Но ты… он…

— Он ничего не сделает мне.

Гип шагнул внутрь. У него не было никакой возможности оглянуться, потому что дверь захлопнулась прямо за его спиной. С этой своей, внутренней стороны она обнаруживала не больше признаков своего существования, чем с внешней. Он прикоснулся к двери, толкнул ее. С тем же успехом можно было пытаться стронуть с места наружную стену, края двери утопали в стене, дверь словно бы перестала существовать в своем основном качестве.

Его посетило мгновение ослепительной паники, сразу же отступившее. Немного пройдя, он уселся напротив другой двери, по всей видимости открывавшейся в ту же самую комнату, к которой вел коридор.

Не было слышно ни звука.

Взяв оттоманку в руки, он переставил ее поближе к стене, опустился на нее, припав спиной к обшивке, круглыми глазами уставившись на дверь.

Толкни ее, проверь, заперта ли она.

Он понял, что не смеет решиться на это. Пока не смеет. Он смутно догадывался о том, что именно почувствует, если обнаружится, что дверь заперта, и сейчас не хотел ничего большего, чем эта повергающая в холод догадка.

— Слушай, — гневно прошипел он, обращаясь к себе самому. — Уж лучше что-нибудь сделай. Сделай, а лучше подумай, только не сиди таким вот образом.

Думай. Думай о здешней тайне, о лице, заканчивающемся острым подбородком, о толстых очках на его глазах… о лице, с улыбкой сказавшем ему: иди и умри.

Думай о чем-нибудь другом! Но быстро!

Джейни. Сейчас она в одиночку смотрит в эту физиономию с ее…

Вот он, *Homo Gestalt*: девушка, две немые девчонки-негритянки, монголоидный идиот и этот тип с его остреньким подбородком и…

Попробуй еще раз. *Homo Gestalt,* следующая ступень эволюции. Что ж… разве не вправе пси-

хическая эволюция сменить физическую? *Homo sapiens* нагой и безоружный, если не считать морщинистого желе в роскошном черепе; он также во всем отличался от породивших его зверей.

Тем не менее он так и остался неизменным…таким же, как был; до сих пор он обожает процесс размножения, до сих пор любит захватывать и отбирать; убивает без угрызений совести; если сила на его стороне — берет, если слаб — убегает; а если слаб и не может бежать — умирает.

И теперь *Homo sapiens* должен умереть.

Владевший им страх был хорошим страхом. В страхе проявляется инстинкт выживания; страх в известной мере утешителен, ибо означает, что где-то еще жива надежда.

И он начал думать о выживании.

Джейни хотела, чтобы *Homo Gestalt* приобрел такую нравственную систему, которая не позволит ему раздавить Гипа Бэрроуза. Однако она хочет, чтобы процветал и ее *Gestalt*, поскольку является его частью. Вот и моя рука хочет, чтобы я был жив, мой язык и мой желудок также требуют, чтобы я выжил.

Нравственность — это не что иное, как закодированный инстинкт сохранения!

Ой ли? А как насчет обществ, в которых без-

нравственно не есть человеческого мяса? При чем здесь вообще инстинкт сохранения?

Ну хорошо, те, кто соблюдает моральный кодекс, выживают внутри своей группы. Если в группе принято баловаться человечинкой, ее ешь и ты.

Однако должно существовать особое имя для кодекса, свода правил, исполняя которые личность проживает свою жизнь так, чтобы она способствовала сохранению вида — нечто превосходящее нравственность.

Назовем этот кодекс этикой.

И в ней именно нуждается *Homo Gestalt*: не в нравственности, но в этике. И значит, я, сидящий здесь с кипящими от страха мозгами, должен составить этический свод для супермена?

Что ж, попробую. Это все, что я в состоянии сделать.

Определим:

Нравственность: общественный кодекс, обеспечивающий выживание личности. (Это определение учитывает и нашего праведного каннибала, и необходимость быть голым в собрании нудистов).

Этика: комплекс правил, которые должна соблюдать личность ради выживания общества.

(А вот и наш этический реформатор: он освобождает своих рабов, он не ест людей, он «изгоняет негодяев».)

Слишком легко и гладко, но поработаем дальше.

В качестве группы *Homo Gestalt* способен разрешить собственные проблемы. Однако в качестве существа: *он не может обладать нравственностью, ибо одинок.*

Перейдем к этике как комплексу правил для личности, обеспечивающих выживание общества. Он не имеет общества, но имеет этику. Он не относится к какому-то виду; он сам есть собственный вид.

Способен ли он — должен ли он выбирать кодекс, который послужит всему человечеству?

И вместе с этой мыслью Гипа Бэрроуза посетила внезапная вспышка озарения, полностью пришедшая со стороны, если смотреть в рамках непосредственно находящейся перед ним проблемы; после чего груз ответственности и слепого безумия ниспал с его плеч, оставив в легкости и уверенности. Формулировалось это озарение следующим образом:

Кто я такой, чтобы делать позитивные заключения о нравственности и моральных кодексах,

способных послужить всему человечеству?

Конечно, я — сын доктора, человека, избравшего целью жизни служение роду людскому и уверенного в своей правоте. Который попытался заставить меня служить подобным же образом, ибо не был уверен в праведности других путей. И за это я ненавидел его всю мою жизнь… Теперь я все понял, папа, все понял!

Ощутив, как тягость застарелого гнева оставляет его, Гип расхохотался, расхохотался, охваченный чистейшим удовольствием. Казалось, что зрение его стало острее, а свет во всем мире ярче, и когда разум его вернулся к насущной проблеме, мысль как бы прочнее нащупала возникающий подтекст, так сказать, предвосхищая ощущение прочной хватки.

Дверь отворилась, и Джейни произнесла:

— Гип…

Он неторопливо поднялся. Мысль его разворачивалась все дальше и дальше, и если он зацепится, если сумеет сомкнуть пальцы…

— Иду.

Шагнув внутрь, Гип невольно охнул. Он оказался словно в огромной оранжерее, размером пятьдесят на сорок ярдов, гигантские стеклянные панели над головой спускались к лужайке — это

был скорее парк, чем зимний сад около дома. Неожиданный зеленый простор потрясал после тесноты и полумрака коридора и прихожей. Гип пришел в восторженное состояние. Стеклянные стены понимались вверх и вверх, вверх и вверх устремлялась и его мысль, подвигая кончики его пальцев все ближе и ближе к цели.

Гип увидел приближающегося к нему мужчину. Быстро шагнул вперед — не навстречу, но чтобы оказаться подальше от Джейни, на случай неожиданного взрыва. Каковой непременно должен был произойти, он знал это.

— Ну, лейтенант, хотя меня и предупредили, не могу скрыть — искренне удивлен.

— А я — нет, — парировал Гип. Он как раз справился с удивлением другого рода, поскольку был убежден, что голос при встрече откажет ему. Как ни странно, этого не произошло. — Все эти семь лет я знал, что отыщу вас.

— Боже! — весело изумился Томпсон. И, посмотрев за плечо Гипа, бросил: — Прости меня, Джейни. Я не верил тебе до этой самой минуты. — И уже обращаясь к Гипу, добавил: — У вас удивительная способность к выживанию.

— Что ж, гомо сапиенс — зверь крепкий, — отвечал Гип.

Томпсон снял очки. Под ними прятались большие круглые глаза, отливающие молочно-белым светом черно-белого телеэкрана, с пронзительно черными, цепкими зрачками. Идеально круглые радужки были четко очерчены, и казалось, что еще минута — и они закружатся, вовлекая все вокруг в свою глубину.

Кто-то внутри произнес: *Не смотри в них, и все будет в порядке.*

Гип услышал голос позади себя:

— Джерри!

Гип обернулся. Джейни поднесла руку ко рту, и небольшой стеклянный цилиндрик размером в сигарету оказался между ее зубов. Она сказала:

— Джерри, я предупреждала тебя. Ты знаешь, что это такое. Только тронь Гипа, и я немедленно раскушу эту штуку. Тогда до конца дней своих можешь жить с Малышом и близнецами, как мартышка в клетке с белками.

«Хотелось бы увидеть этого Малыша», — успел подумать Гип.

Томпсон словно примерз к месту, остановив неподвижный взгляд на Джейни, но прежде чем заговорить, описал в воздухе очками широкий круг.

— Малыш вам не понравится.

— Я хочу задать ему вопрос.

— Никто, кроме меня, не задает ему вопросов. Вы ведь рассчитываете на ответ?

— Да.

Томпсон расхохотался:

— Ну какие в наше время могут быть ответы!

Джейни тихо позвала:

— Погляди сюда, Гип.

Он обернулся. Теперь он затылком ощущал скрытое напряжение, пронзавшее воздух, приближавшееся к его плоти. Так, должно быть, чувствовали себя люди, повернувшиеся спиной к Горгоне.

Следом за Джейни он пересек комнату. В нише, устроенной в той стене комнаты, которая не была сложена из закругленных панелей, располагалась колыбель величиной с добрую ванну. Он не думал, что Малыш окажется настолько большим и толстым.

— Продолжай, — проговорила Джейни. На каждом слоге живой цилиндр подергивался.

— Да, продолжай. — Голос Томпсона раздался так близко, что Гип вздрогнул: он не услышал звука приближающихся шагов и оттого показался себе глупым мальчишкой.

Сглотнув, Гип обратился к Джейни:

— Что я должен сделать?

— Сформулируй вопрос в уме. Возможно, он уловит его. Насколько я знаю, он слышит всех.

Гип склонился над колыбелью. Тусклые черные глаза… словно носки запыленных ботинок, приковывали взгляд. Он подумал: «Прежде у вашего *Homo Gestalt* была другая голова. Ваш «симбиоз» может использовать разных телекинетиков, телепортеров. Малыш, а тебя заменить можно?»

— Он отвечает — да, — проговорила Джейни, — тем мелким грубияном с огрызком кукурузного початка… помнишь его?

Томпсон с горечью проговорил:

— Вот уж не думал, Джейни, что ты способна на такую безумную глупость. За это я могу даже убить тебя.

— Ты прекрасно знаешь, как это сделать, — вежливым светским тоном ответила Джейни.

Гип медленно повернулся к Джейни. Мысль приближалась к цели… а может быть, это он, опередив ее, успел забежать вперед и выше. Похоже, что его пальцы уже ощущают контуры.

Если Малыш — сердце, ядро, эго и память нового существа, хранитель всего, что они делали или даже думали… если даже Малыш может быть замещен, значит, *Homo Gestalt бессмертен!*

И тут порывом, разом он понял. Понял все. И проговорил ровным тоном:

— Я спросил Малыша о том, можно ли его заместить… можно ли переместить его банки памяти и счетные способности.

— Не говори ему этого! — отчаянно крикнула Джейни.

Томпсон погрузился в полный и неестественный покой. И наконец произнес:

— Малыш сказал — да. Я уже знаю это. И ты, Джейни, тоже знала, причем знала давно, так?

Она не то охнула, не то негромко кашлянула, а Томпсон сказал:

— А меня не поставила в известность. Действительно, тебе-то зачем. Малыш не способен говорить со мной, однако следующий, возможно, окажется способным на это. Все подробности мне нетрудно прямо сейчас извлечь из лейтенанта. Так что заканчивай свою пьесу, Джейни. Ты больше мне не нужна.

— Гип! Беги! Беги!

Глаза Томпсона обратились к Гипу, и он со всей кротостью проговорил:

— Ну нет, зачем же.

Зрачки его уже собирались закружиться, словно колеса, словно винты самолета, словно…

Гип услышал, как взвизгнула и еще раз взвизгнула Джейни. Потом послышался хруст. Взгляд исчез.

Прикрыв глаза ладонью, Гип отшатнулся. В комнате раздавался задушенный крик, он продолжался и продолжался, закручивался вокруг себя. Гип глянул сквозь пальцы.

Томпсон откинулся назад, запрокинув голову едва ли не до лопаток. Он брыкался и отбивался локтями. Бони крепко держала его, одной рукой прикрывая глаза, упираясь коленом в поясницу, она же и издавала это непонятное бормотание.

Гип бросился вперед таким отчаянным прыжком, что пальцы его ног на первых трех шагах едва касались пола. Он стиснул пальцы в кулак — до тех пор, пока боль не побежала по его руке, предплечью и ударила в плечо всей яростью, накопленной за семь горестных лет. Кулак его вонзился в напряженное солнечное сплетение, и Томпсон беззвучно упал. Вместе с ним упала и негритянка, немедленно изогнувшаяся и вскочившая на ноги. Она подбежала к Гипу, улыбнулась, как полная луна, почтительно прикоснулась к бицепсу, похлопала по плечу и что-то пробормотала.

— И *тебе* тоже спасибо! — выдохнул он, пово-

рачиваясь. Другая темнокожая девушка, столь же мускулистая и столь же нагая, поддерживала медленно оседавшую на пол Джейни.

— Джейни! — взревел он. — Бони, Бини, не знаю, как различать вас — неужели она…

Девушка, поддерживавшая Джейни, вновь забормотала. Джейни подняла глаза, перевела изумленный взгляд на Гипа. А потом на неподвижную фигуру Джерри Томпсона. И вдруг улыбнулась.

Девушка, находившаяся рядом с ней, тронула рукав Гипа и указала на пол. Осколки раздавленного цилиндрика валялись под ногами, легкое пятнышко жидкости таяло на глазах.

— У меня не было ни единого шанса после того, как эта бабочка приземлилась на мои руки. — Успокоившись, она встала и бросилась в объятия Гипа. — А Джерри… он?..

— Едва ли я мог убить его, — ответил Гип и добавил: — Так что он жив… Пока.

— Я не могу приказать тебе убить его! — прошептала Джейни.

— Да, я это знаю.

Она проговорила:

— Близнецы в первый раз на моей памяти прикоснулись к нему. Это был очень смелый

поступок с их стороны. Он мог за какую-нибудь секунду выжечь мозг им обеим.

— Чудесные девушки. Бони! — позвал Гип.

— Хо.

— Принеси мне нож… Острый и длинный. И полоску ткани… примерно такую.

Бони посмотрела на Джейни, та выговорила:

— Что…

Гип прикоснулся ладонью к ее губам, теплым и мягким:

— Шшш.

Охваченная паникой Джейни воскликнула:

— Бони, не надо…

Та исчезла. Гип попросил:

— Оставь нас с ним вдвоем. Ненадолго.

Джейни открыла было рот, но внезапно повернулась и выбежала из оранжереи. Бини просто испарилась.

Гип подошел к лежащему и посмотрел на него. Он не думал. Он уже все продумал, и теперь оставалось только воплотить свою мысль в жизнь.

Бони вошла через дверь. В руках она держала полоску черного бархата и кинжал с клинком длиной дюймов в одиннадцать. Глаза ее необычайно округлились, рот, напротив, сжался в точку.

— Спасибо, Бони. — Он взял нож. Роскошная финка — острая, словно бритва, а острие заточено буквально до невидимости. — А теперь выйди!

И она вылетела из комнаты, как вишневая косточка из пальцев. Положив кинжал и полоску ткани на стол, Гип подтащил Томпсона к креслу, огляделся, заметил шнурок от звонка и сорвал его. Он привязал руки и ноги Томпсона к креслу, откинул назад его голову и затянул на глазах повязку.

Потом пододвинул поближе еще одно кресло, уселся в него. Чуть шевельнул ножом, ощущая ладонью превосходный баланс. Он ждал.

И, размышляя, взял свою мысль целиком и, оставив на ней рисунок, словно портьеру, повесил над входом в свой разум. Он повесил ее аккуратно, расправил все складки, со всем тщанием предусмотрел, чтобы она закрывала этот вход от верха до низа, не оставляя щелей по бокам.

Вот что гласил этот рисунок:

Слушай меня, мальчик, слушай, сирота. Тебя ненавидели, гнали… Так было и со мной.

Слушай меня, мальчик из пещеры. Ты нашел укромный уголок и был счастлив в нем. Так было и со мной.

Слушай меня, мальчик мисс Кью. На годы ты

забыл самого себя, а потом вернулся, чтобы обрести себя заново. Так было и со мной.

Слушай меня, мальчик, *Homo Gestalt*. Ты обрел в себе силу, что превыше любых мечтаний, ты пользовался и наслаждался ею. Так было и со мной.

Слушай меня, Джерри. Ты узнал, что, как бы велика ни была твоя мощь, она никому не нужна. Так было и со мной.

Ты хочешь быть желанным. Ты хочешь быть нужным. И я тоже.

Джейни говорит, вы нуждаетесь в нравственности. Но это понятие не применимо к вам. Вы не можете воспользоваться правилами, установленными теми, кто подобен вам, ибо таких не существует. Но ты не простой человек, так что мораль обычных людей не применима к тебе. Так человеку бесполезен нравственный кодекс муравьиной кучи.

Поэтому ты никому не нужен, и ты — чудовище.

И я не был нужен обществу, покуда оставался чудовищем.

Но, Джерри, есть свод заповедей и для тебя. Свод, который требует скорее веры, чем повиновения. Зовется он этикой.

Этот кодекс, этика, позволит вам выжить. Но выжить в более высоком смысле, чем твоему или моему виду или тебе самому. Суть его — в уважении к твоим предкам, к твоему прошлому. Она в изучении потока, который дал тебе жизнь, и, когда наступит время, сам породишь нечто большее.

Помоги человечеству, Джерри, оно тебе и отец, и мать — ты ведь не знаешь своих родителей. И человечество породит подобных тебе, и ты больше не будешь один. Помоги им взрасти, помоги им выстоять — и ваш род умножится. Ведь ты же бессмертен, Джерри. Бессмертен уже теперь.

И когда вас станет много, твоя этика сделается их моралью. А когда их мораль перестанет удовлетворять потребностям их вида, ты сам или другое этическое существо создаст новый кодекс, который протянется еще дальше вдоль основного потока, с почтением к тебе, с почтением к тем, кто породил их, начиная с того дикаря, чье сердце возликовало, увидев звезду, и преобразило его.

Я был чудовищем, но я познал законы нравственности. Ты тоже чудовище. И дело лишь за твоим решением.

Джерри пошевелился. Гип Бэрроуз замер.

Джерри застонал и слабо закашлялся. Ладонью

левой руки Гип откинул назад вялую голову. И приставил острие ножа прямо к горлу Джерри.

Тот неразборчиво забормотал. Гип проговорил:

— Не дергайся, Джерри. — Он легко надавил на нож, тот промял кожу глубже, чем этого хотел Гип: отличный нож.

Губы Джерри улыбались — их растягивали напряженные мышцы шеи. Дыхание, свистя, пробивалось сквозь напряженную псевдоулыбку.

— Что ты собираешься сделать?

— А что бы ты сделал на моем месте?

— Снял бы повязку. Я ничего не вижу.

— Все, что необходимо, ты увидишь.

— Бэрроуз, освободи меня. Я тебе не причиню вреда. Обещаю. Я ведь многому могу научить тебя, Бэрроуз.

— Убить чудовище — дело, отвечающее нормам морали, — заметил Гип. — А скажи-ка мне, Джерри: правда ли, что ты можешь прочесть все мысли человека, заглянув в его глаза?

— Отпусти меня, отпусти, — пробормотал Джерри.

Приставив нож к горлу чудовища, в недрах огромного дома, который мог стать и его домом, в доме, в котором его ждала девушка, тревогу которой за него он мог буквально пощупать пальцами,

Гип Бэрроуз готовил свое этическое действо, когда повязка упала, оставив одно изумление в этих странных круглых глазах. Достаточное, куда более достаточное, чтобы прогнать всякую ненависть. Гип поболтал ножом. Заново поправил мысль, сверху донизу, с одного бока до другого, бросил нож, звякнувший о плитки пола. Удивленные глаза последовали за ним, вернулись… Радужки уже готовы были закружиться.

Гип пригнулся к нему и негромко проговорил:

— Действуй.

Не скоро Джерри вновь поднял голову и встретился с Гипом глазами.

— Привет, — проговорил Гип.

Джерри вяло поглядел на него и пробормотал:

— Убирайся ко всем чертям.

Гип не сдвинулся с места.

— Я мог бы убить тебя, — проговорил Джерри. Он открыл глаза пошире: — Мне и сейчас нетрудно это сделать.

— Ты не сделаешь этого. — Гип поднялся, нагнулся к ножу и подобрал его. Потом вернулся к Джерри и перерезал путы. Затем снова сел.

Джерри проговорил:

— Никто… никогда… — Он покачал головой и глубоко вздохнул. — Мне стыдно, — прошептал

он. — Никто еще не заставлял меня почувствовать стыд. — Он поглядел на Гипа, и изумление вновь вернулось в его глаза. — Я знаю так много. Могу разузнать все обо всем. Но я никогда… Как *тебе* удалось все это обнаружить?

— Вляпался так же, как и ты сам, — ответил Гип. — Этика — не набор фактов. Это образ мышления.

— Боже, — проговорил Джерри, пряча лицо в ладонях. — Что я наделал… а что мог бы сделать.

— Что можешь сделать, — мягко поправил его Гип. — Ты уже расплатился за прежнее.

Джерри оглядел огромную стеклянную комнату и все, что стояло в ней, — массивное, дорогое, богатое.

— В самом деле?

Гип ответил, обратившись к глубинам израненной памяти:

— Вокруг тебя люди, а ты один.

Он сухо улыбнулся.

— Не подобает ли сверхчеловеку сверхголод, Джерри? И сверходиночество?

Джерри медленно кивнул головой.

— В детстве я был другим человеком… много лучшим, чем теперь.

Он поежился.

— Холодно стало.

Гип не понял, какую разновидность холода тот имеет в виду, но спрашивать не стал. Он поднялся на ноги.

— Схожу-ка лучше к Джейни. А то еще решит, что я тебя убил.

Джерри молчал, пока Гип не оказался возле двери. А потом произнес:

— Не уверен, похоже, что все-таки убил.

Гип вышел.

Джейни с близнецами сидели в крохотной прихожей. Когда Гип вошел, Джейни шевельнула головой, и близнецы исчезли.

Гип проговорил:

— Я бы хотел, чтобы и они знали.

— Говори, — отвечала Джейни, — они узнают.

Он сел возле нее. Джейни сказала:

— Так ты его не убил…

— Нет. Теперь с ним все будет в порядке, — отвечал Гип, поглядев ей в глаза. — Ему стало стыдно.

Она, словно в шаль, закуталась в мысли. Это было ожидание, отличное от того, к которому он привык, ибо, ожидая, она изучала себя, а не его.

— Вот и все, что я мог сделать. И теперь я ухожу. — Он глубоко вздохнул. — Много дел. Надо

разыскать пенсионные чеки. Подыскать работу.

— Гип…

Только в такой маленькой комнатке, только в такой тишине он мог бы услышать ее голос.

— Да, Джейни.

— Не уходи.

— Я не могу остаться.

— Почему?

Задумавшись ненадолго, все просчитав, он сказал:

— Ты являешься частью вашего целого, и я не хочу быть частью от части.

Джейни проговорила:

— У *Homo gestalt* есть руки и голова, органы и разум. Но истинным человеком человека делает то, что он выучил на собственном опыте… что заработал. То, чего нельзя получить в раннем детстве; если человеку суждено постичь это, то лишь после долгих трудов и испытаний. А после этого оно становится частью его самого до конца дней.

— Не знаю, что ты хочешь сказать. Ты имеешь в виду, что я могу стать частью?.. Нет, Джейни, нет. — Однако от ее улыбки нельзя было укрыться.

— Так какой же частью? — недоуменно спросил Гип.

— Будешь докучливым надоедалой, напоминающим о правилах хорошего тона, — знатоком этики, способным преобразить ее в привычную мораль.

— Тоненьким голоском напоминать вам о правилах хорошего тона. — Он фыркнул. — Приятная участь!

Она притронулась к его руке.

— Сомневаюсь.

Он посмотрел на закрытую дверь в большой зимний сад. А потом сел рядом с ней. Сел ждать.

В стеклянном помещении царила тишина.

Долгое время ее нарушало лишь натруженное дыхание Джерри. Но вдруг прекратилось и оно, когда что-то случилось, что-то — *проговорило*!

Проговорило еще раз.

Добро пожаловать.

Безмолвный голос. А за ним второй, тоже безмолвный, но все же другой: *Это новенький. Здравствуй, малыш!*

И третий: *Ну, здорово, здорово, наконец-то! А мы уже боялись, что ты так и не сумеешь родиться.*

Ты не мог не родиться. Новичков не было так давно…

Джерри прижал ладонь ко рту. Глаза его округ-

лились. Разум его наполнился приветственной музыкой. Он ощущал теплоту, радостный смех и мудрость. В них было и знакомство, ибо каждый голос принадлежал конкретной личности; понятное ощущение какого-то подобия статуса или ранга, и точное место, и ощущение физического положения. И все же, в терминах амплитуды, между голосами не было никакой разницы. Все они были здесь или, по крайней мере, находились на равном удалении.

Это был счастливый и лишенный страха союз, разделенные с Джерри потоки юмора, удовольствия, взаимного общения и общего достижения. И все пронизывала одна фраза: *добро пожаловать, добро пожаловать.*

Все они были молоды и свежи, пусть и не столь юны, как сам Джерри. И молодость эта ощущалась в силе и упругости мысли. Впрочем, воспоминания некоторых отдавали стариной в рамках истории человечества, однако всем им далеко было до вечности, они были юны и бессмертны.

Был среди них и тот, кто напел однажды мелодию папаше Гайдну, и тот, кто представил Уильяма Морриса семейству Россетти. И словно собственными глазами Джерри увидел Ферми, склоняющегося над следом, оставленным на

фотопластинке делящимся ядром, и девочку Ландовскую, слушающую клавикорды, придремавшего Форда, вдруг увидевшего свой конвейер: цепочку людей возле поточной линии.

Задать вопрос значило получить ответ.

— Кто ты?

— Homo Gestalt. Я один, часть; принадлежность…

– Добро пожаловать.

— Почему раньше вы ничего не говорили мне?

– Ты не был готов. Не был закончен. Что представлял собой Джерри до встречи с Дином?

— А что изменилось теперь… дело в этике? Это она завершила меня?

Этика, слишком простое слово. Но да, да… множественность является нашей первой характеристикой; единство — вторая. И как твои части знают, что являются частями тебя, так и ты должен понимать, что все мы — части человечества.

И Джерри понял в этот момент, что позорные для него поступки, каждый по отдельности, были поступки, которые люди могут совершать в отношении других людей, но не должны совершать. И проговорил:

— Я был наказан.

– Ты был в карантине.

— Так что же, неужели вы… мы… ответственны за все свершения человечества?

– Нет! Мы в доле. Мы и есть человечество!

— Человечество пытается убить себя.

(Волна удивления, высшая, радостная уверенность).

– Так может показаться сегодня, на этой неделе. Но с точки зрения истории расы… Пойми, новичок, атомная война — всего лишь рябь на великом водном просторе Амазонки!

Их воспоминания, представления и знания хлынули в память Джерри, и он наконец понял их природу и предназначение; и понял, почему усвоенная им этика является слишком мелкой и узкой концепцией. Ибо здесь наконец властвовала сила, неспособная развращать; ибо подобное проникновение в суть вещей невозможно использовать в собственных целях или против кого-то. Он узнал, почему и как существует род людской, беспокойный и изменчивый, освященный прикосновением своей великой судьбы. Он увидел, как умирают тысячи, ради того чтобы благоденствовали миллионы. Был здесь и руководитель, маяк, во времена опасности для всего человечества; был и Хранитель, Известный всем

людям — не как внешняя сила или внушающий страх Страж небесный, но веселое существо, наделенное человеческим сердцем и почтением к собственному человеческому происхождению, от которого исходил запах пота и свежевспаханной земли, а не вялый аромат святости.

И Джерри увидел себя атомом во Вселенной, а свой *Gestalt* — молекулой. А рядом другие, другие… клетки среди клеток, увидел общий контур того, чем с радостью однажды сделается человечество.

И он почувствовал, как крепнет в нем священный трепет и почитание, признав в нем присущее человеку качество — уважение к себе самому.

И он простер руки, и слезы хлынули из его странных глаз.

– *Спасибо*, — вымолвил он, обратившись к голосам. — *Спасибо, спасибо*.

И в смирении занял предуготованное ему в мире место.

1952 г.